**Юрий Коваль**

**Алый**

Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и весёлый.

Командир спросил:

− Как фамилия?

− Ёлки-палки, фамилия-то моя Кошкин, − сказал Кошкин.

− А при чём здесь ёлки-палки? − спросил командир и потом добавил: − Отвечай ясно и толково, и никаких ёлок-палок. Вот что, Кошкин, − продолжал командир, − собак любишь?

− Товарищ капитан! − отвечал Кошкин. − Скажу ясно и толково: я собак люблю не очень. Они меня кусают.

− Любишь не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов.

...Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак.

Старший инструктор сказал Кошкину:

− Вот тебе щенок. Из этого щенка нужно сделать настоящую собаку.

− Чтоб кусалась? − спросил Кошкин.

Старший инструктор строго посмотрел на Кошкина и сказал:

− Да.

Кошкин осмотрел щенка. Щенок был небольшой, уши его пока ещё не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только ещё начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете.

− Придумай ему имя, − сказал старший инструктор. − В этом году мы всех собак называем на букву «А» − Абрек, Акбар, Артур, Аршин и так далее. Понял?

− Понял, − ответил Кошкин.

Но по правде говоря, он ничего не понял. Тогда ему объяснили, что пограничники каждый год называют собак с какой-то одной буквы. Поэтому стоит сказать, как зовут собаку, и ты узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась.

«Ну и ну! − подумал Кошкин. − Здорово придумано!»

Кошкин взял щенка под мышку и понёс его в казарму. Там он опустил его на пол, и первым делом щенок устроил большую лужу.

− Ну и щенок на букву «А»! − сказал Кошкин. − С тобой не соскучишься.

Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но после того, как Кошкин потыкал его носом в лужу, кое-что намотал на ус.

Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать: «Как же назвать этого лоботряса? На букву «А», значит... Арбуз?.. Не годится. Агурец? Нет, постой, огурец − на букву «О»...»

− Ну и задал ты мне задачу! − сказал Кошкин щенку.

Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву «А».

Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя получилось такое − Алый.

− Почему Алый? − удивлялись пограничники. − Он серый весь, даже чёрный.

− Погодите, погодите, − отвечал Кошкин. − Вот он высунет язык − сразу поймёте, почему он Алый.

Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило.

Бросит Кошкин палку и кричит:

− Апорт!

Это значит: принеси.

А Алый лежит и не думает бегать за палкой. Алый так рассуждает: «Стану я бегать за какой-то палкой! Если б ты мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы − понятно, я бы побежал. А так, ёлки-палки, я лучше полежу».

Словом, Алый был лентяй.

Старший инструктор говорил Кошкину:

− Будьте упорней в достижении своих целей.

И Кошкин был упорен.

− Что ж ты лежишь, голубчик? − говорил он Алому. − Принеси палочку.

Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал: «Что я, балбес, что ли? За палочкой бегать! Ты мне кость брось».

Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого:

− Цветочек ты мой аленький, лоботрясик ты мой! Принесёшь, ёлки-палки, палку или нет?!

Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону, а Кошкин бежал за ним.

− Смотри, Алый, − грозился Кошкин, − хвост отвинчу!

Но Алый бежал всё быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком. Но ни разу он не ударил Алого. Кошкин знал, что собак бить − дело последнее.

Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин − это Кошкин, мужик хороший, который кулаком только грозится. Теперь уж, когда Кошкин бросал палку, Алый так рассуждал: «Хоть это и не кость, а просто палка, ладно уж − принесу».

Он бежал за палкой и приносил её Кошкину. И Кошкин радовался.

− Алый, − говорил он, − ты молодец. Вот получу из дому посылку − дам тебе кусок колбаски: пожуёшь.

А Алый ничего не говорил, но так думал: «Что-то твои посылки, товарищ Кошкин, долго идут. Пока они дойдут, можно с голодухи ноги протянуть».

Но всё же протягивать ноги Алый не собирался. Всех собак кормили хорошо, а Кошкин даже ходил на кухню клянчить кости. И будьте спокойны, Алый эти кости обгладывал моментально.

Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина. И Кошкин Алого очень полюбил.

Когда Кошкин получал из дому посылку, он, конечно, делился, давал чего-нибудь и Алому пожевать.

Алый посылок ниоткуда не получал, но думал так: «Если б я получил посылку, я бы тебе, Кошкин, тоже отвалил бы чего-нибудь повкуснее».

В общем, жили они душа в душу и любили друг друга всё сильнее и сильнее. А это, что ни говорите, редко бывает.

Старший инструктор частенько говорил Кошкину:

«Кошкин! Ты должен воспитать такую собаку, чтоб и под воду и под воеводу!»

Кошкин плохо представлял себе, как Алый будет подлезать под воеводу, но у старшего инструктора была такая пословица, и с ней приходилось считаться.

Целыми днями, с утра и до вечера, Кошкин учил Алого. Конечно, Алый быстро понял, что значит «сидеть», «лежать», «к ноге» и «вперёд».

Как-то Кошкин дал ему понюхать драную тряпку. Тряпка как тряпка. Ничего особенного.

Но Кошкин настойчиво совал её Алому под нос. Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушёл и вернулся только часа через два.

− Пошли, − сказал он Алому, и они вышли во двор.

Там, во дворе, стояли какие-то люди, закутанные в толстые балахоны. Они стояли спокойно, руками не махали и только смотрели на Алого во все глаза. И вдруг волной хлестнул запах от одного из них − Алый зарычал и бросился к этому человеку, потому что так точно пахла тряпка, какую давал ему Кошкин.

− Ну что ж, − сказал старший инструктор, который стоял неподалёку, − с чутьём у Алого всё в порядке, но это ещё не самое главное.

...Однажды Кошкин посадил Алого в пограничную машину «ГАЗ-69». В машине их уже ожидал старший инструктор. Алый сразу же хотел укусить старшего инструктора, но Кошкин сказал ему:

− Сидеть!

«Я, конечно, могу укусить и сидя, − подумал Алый, − но вижу, ёлки-палки, что этого делать не следует».

Машина немного потряслась на просёлочной дороге и остановилась у леса.

Кошкин и Алый выпрыгнули из кабины, а следом − старший инструктор. Он сказал:

− Товарищ Кошкин! Нарушена государственная граница СССР. Ваша задача: задержать нарушителя!

− Есть задержать нарушителя! − ответил Кошкин как полагается. Потом он погладил Алого и сказал: − Ищи!

Кого искать, Алый сразу не понял. Он просто побежал по опушке леса, а Кошкин − за ним, а старший инструктор − за Кошкиным. Одной рукой Кошкин держал Алого на поводке, другой − придерживал автомат.

Алый пробежал немного вправо, потом немного влево и тут почувствовал запах − чужой и неприятный. Ого! Здесь прошёл человек! Трава, примятая его ногами, успела распрямиться. Но запах-то остался, и Алый рванулся вперёд. Он взял след.

Теперь они бежали по лесу, и ветки сильно хлестали Кошкина по лицу. Так всегда бывает, когда бежишь по лесу, не разбирая дороги.

Тот, кто прошёл здесь несколько часов назад, хитрил, запутывал след, посыпал его табаком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним. Но Алый след не бросал.

Наконец они прибежали к небольшому ручью, и здесь Алый забеспокоился. Тот человек прошёл давно, и вода, которая имела его запах, утекла куда-то далеко вниз.

Теперь она пахла водорослями, камешками, проплывающим пескарём. И Алому захотелось поймать этого пескаря. Но пескарь спрятался под камень. Алый тронул камень, но оттуда выскочили сразу три пескаря.

Тут Кошкин увидел, что Алый ловит пескаря, и сказал:

− Фу!

Они перебрались на другой берег, и снова Алый почувствовал чужой запах.

Скоро они выскочили на открытую поляну и увидели того, за кем гнались.

Тот бежал, и оглядывался, и махал от страха руками, и рукава его одежды были ужасно длинными.

Кошкин бросил поводок, и Алый огромными прыжками стал нагонять нарушителя. Потом он прыгнул последний раз, пролетел по воздуху, ударил бегущего в спину и сшиб его с ног. Тот упал ничком и даже пошевелиться не мог, потому что Алый придавил его к земле.

Кошкин еле оттащил Алого за ошейник.

Тогда лежащий приподнялся и сказал:

− Ну и собачка у вас, товарищ Кошкин! Обалдеть можно!

Человек, за которым они гнались, был не кто иной, как Володька Есаулов, приятель Кошкина и тоже пограничник. И всё это была пока учёба.

Старший инструктор сказал:

− Собака работала хорошо. За такую работу ставлю ей отметку четыре.

− За что же четыре? − спросил Кошкин. − Надо бы пять.

− За пескаря, − ответил старший инструктор.

«Проклятый пескарь!» − подумал Кошкин. Он хорошо знал, что пограничная собака не должна отвлекаться, когда идёт по следу.

Все сели в машину, чтобы ехать назад, а Кошкин достал из кармана отличный сухарик и сунул его Алому в пасть.

И Алый, хрустя сухарём, подумал про старшего инструктора и про Володьку Есаулова: «Вам небось после такой беготни тоже хочется погрызть сухарика, да товарищ Кошкин не даёт».

Наконец настал день, когда Кошкин и собака Алый попрощались со школой собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу.

Начальник заставы сказал:

− А, ёлки-палки, Кошкин!

− Так точно! − гаркнул Кошкин, да так громко, что у начальника заставы чуть револьвер не выстрелил.

− Вижу, вижу, − сказал начальник, − вижу, что ты научился отвечать как следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не выстрелил.

Потом командир спросил:

− Как же зовут собаку?

− Алый, товарищ капитан.

− Алый? − удивился начальник заставы. − Почему Алый?

− А вы погодите, товарищ капитан, − ответил Кошкин, − вот он высунет язык, и вы сразу поймёте, почему он Алый.

А застава, куда приехали Кошкин и Алый, была в горах. Кругом-кругом, куда ни погляди, всё горы, горы... Все они лесом заросли: ёлками, дикими яблонями. Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются круглые камни да острые камешки.

− Видишь, Алый, − говорил Кошкин, − вот они, горы. Это тебе не школа собачьих инструкторов.

Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной...»

Трудное дело − охранять границу. Днём и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта − особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха.

Рядом с инструкторской тропой идёт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошёл через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе.

Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу − нет ли каких следов?

Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакальи да заячьи следы.

− Дни идут за днями, − говорил Кошкин, − а ничего особенного не происходит.

«Беда невелика, − думал Алый, − не происходит, не происходит, да вдруг и произойдёт».

И действительно.

Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать − тревога!

Тревога!

Кто-то перешёл границу!

Тревога!

В ружьё!

Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо...

Кошкин и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели − тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который вообще-то жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

− Здравствуй, Александр, − сказал Кошкин.

Старик кивнул.

− Никого не видел? − спросил Кошкин.

− Видел.

− Кого?

− Босого мужика.

− Тю! − сказал Кошкин. − Какого босого мужика?

− Тю, − сказал теперь старик Александр. − Косолапого.

Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что босым называют медведя.

− А больше никого не видел?

− Видел.

− Кого?

− Обутого мужика.

− Ох, − рассердился Кошкин, − дело говори!

Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то сорвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете...

Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо − острый, чужой запах бил прямо в нос.

Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека − на дереве.

Он сидел на дереве, на дикой яблоне: словно пантера, прижался к чёрному корявому суку.

− Вниз!

И человек спрыгнул с ветки и, отряхиваясь, заговорил:

− Да я так просто, яблочков хотел пожевать, яблочков.

− Оружие − на землю!

− Да нет у меня никакого оружия, − сказал человек. − А я так просто, яблочков хотел было пожевать, кисленьких.

И вдруг он прыгнул на Кошкина и в ту же секунду оказался на земле, потому что Алый сшиб его с ног и прокусил руку, сжимавшую нож.

− О-о-о! − закричал человек, а потом замолчал − так страшно было увидеть над собой раскрытую собачью пасть...

Когда Кошкин вёл его на заставу, он всё бубнил:

− А я-то яблочков хотел было пожевать... − А потом оглядывался на Алого и говорил: − У-у-у! Дьявол проклятый!

Алый бежал сбоку, и что он думал в этот момент, сказать трудно.

Так и служили Кошкин и Алый на границе.

Командир заставы часто посылал их в секрет. Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешёл границу.

Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели всё. Словом, секрет.

Пробегал мимо заяц − они даже и не шевелились. Если пробегал шакал, тогда Алый думал: «Беги, шакал, беги. Жаль, что я пограничная собака, а то бы я тебе уши-то пооборвал».

Кошкин, конечно, не знал, о чём думает Алый, но сам глядел на шакала я думал: «Жалко, что Алый − пограничная собака, а то бы он от этого шакала камня на камне не оставил».

Вот так и служили Кошкин и Алый на границе. Время шло и медленно и быстро.

«Медленно-то как идёт время», − думал Кошкин иной раз.

«Быстро-то как время бежит», − думал он в другой раз.

Уже наступила весна. С гор текли ручьи из растаявшего снега и льда. На некоторых тёплых местах даже пошевеливались змеи и ящерицы. Было полно подснежников и горных фиалок.

Кошкин и Алый шли по инструкторской тропе.

От ручьёв и тающего снега, мокрых камней и свежей земли, от цветов и от ящериц стоял такой могучий и нежный запах, что у Кошкина кружилась голова и он был ужасно чему-то рад.

Алый фыркал, водил по сторонам мокрым носом и тоже был странно возбуждён.

«Ёлкины палки, − думал Алый. − Что это со мной творится?» Он как-то не понимал, что просто его охватило весеннее собачье веселье.

Чоп-чоп-чоп-чоп! − Алый бежал по оттаявшей вязкой земле.

Фру-фру-фру-фру! − теперь он ломал ледяную корку.

Они спустились в ущелье, и Алый зло ощетинился. И Кошкин сразу увидел следы.

Огромные, чёрные, они ясно отпечатались на вспаханной полосе. Это были совсем свежие следы медведя.

«Может быть, человек?» − подумал Кошкин. Он знал, что есть люди, которые надевают на ноги подобия медвежьих лап, чтобы перейти границу.

Кошкин внимательно оглядел след. Сомнений не было − медведь. Но надо было проверить.

Алый чуть дрожал, скалил зубы, чувствовал зверя. Ясно было − медведь. Только надо было проверить.

− Вперёд! − шепнул Кошкин.

Алый туго потянул поводок и пошёл по следу.

Солнце поднялось выше, и ручьи заурчали погромче. Послышались новые, самые разнообразные звуки: какие-то потрескиванья, позвякиванья, потряхиванья.

«Оррк! Оррк!» − орал в небе огромный ворон, утомлённый солнечной весной.

След привёл к большим камням, которые громоздились в устье ущелья. Камни были покрыты ледяной коркой, а на ней мелкой россыпью бродили ручейки, разрезали узорными желобками лёд. От камней поднимался пар.

Они вбежали в облако пара, и тотчас закружились белые струйки, как будто все бесчисленные весенние ручейки вдруг рванулись вверх, к небу.

«Ах! Ах! − залаял Алый, и залаял он не так, как обычно, а странно: − Ах! Ах!»

Огромный зверь встал перед ними. И так близко, что видны были весенние капли в блестящей шерсти.

Медведь!

Кошкин изо всей силы рванул поводок и отбросил Алого назад.

Но медведь был по-весеннему зол. Он вздыбил шерсть и замигал глазками, красными и разъярёнными. Прыгнул вперёд, подцепил Алого лапой.

Алый увернулся бы, да камень помешал − камень, окутанный паром. От страшного удара Алый взлетел в воздух, разбрызгивая капли крови.

«Алый!» − хотел крикнуть Кошкин, но крикнул только:

− А-а-а... − и поднял автомат, и выстрелил несколько раз.

Мёртвый медведь лежал, вцепившись зубами в камень. Он крепко обнял его мохнатыми лапами, и светлый ручей из расселины хлестал через его голову.

Кошкин перевязал Алого и понёс его на заставу. Все мысли Кошкина запутались, сбились в клубок. Он прижимался ухом к спине Алого и слышал, как невероятно быстро, не по-человечески колотится его сердце.

На заставе фельдшер промыл рану Алого и долго-долго зашивал её. Было ужасно больно. Алому всё время хотелось зря укусить фельдшера, но Кошкин стоял рядом, гладил Алого и нарочно грубо говорил:

− Подумаешь, медведь! Барахло какое!

«Зашивайте, зашивайте поскорее, − думал Алый. − Больно же...»

Когда фельдшер зашил рану, Алый сразу хотел вскочить, но сил-то не было. И Кошкин понёс его в сарайчик, где жили собаки. На руках у Кошкина Алый уснул...

Потом побежали день за днём. Солнце перекатывалось над горами, облака сталкивались в небе с тучами, падал на землю дождь, и навстречу ему выползали из земли толстые стебли, налитые зелёным соком.

Алый всё время чувствовал, как заживает, затягивается его рана, и торопился её лизать. Ему казалось, что он может слизнуть языком тупую, тягучую боль.

Когда рана поджила, Кошкин стал выводить его во двор заставы. Кошкин садился на лавочку и играл на гитаре, а Алый лежал у его ног, мигая на солнце.

Алому было странно слушать, как тянутся звуки со струн, плывут над его головой и закруживают её. Он поднимал голову − и утомительный вой вылетал из его горла. И Алый закрывал глаза и хватал зубами воздух, будто хотел укусить собственную песню.

Подходили пограничники, слушали Алого и смеялись, расспрашивали про медведя.

− Вообще-то я медведей побаиваюсь, − говорил Кошкин, отставив гитару. − Кусаются.

Алый, конечно, ничего не говорил, но думал: «С медведями держи ухо востро».

Весна прошла, а потом прошло и лето, а потом и осень кончилась. Выпал снег. От него выровнялись кривые горы, и даже в ущельях, под нависшими камнями, сделалось ясно.

Хоть и неглубок был первый снег, на нём хорошо был виден след нарушителя. Снег был пробит, продавлен подкованным сапогом до самой земли, до осеннего листа.

− Тяжёлый человек прошёл, − сказал рядовой Снегирёв про того, кто натоптал след.

− Да, − отозвался Кошкин, − тяжеловат.

Алый нервничал, тянул Кошкина по следу, но Кошкин сдерживал его, раздумывал.

− Ну? − спросил Снегирёв.

− Будем преследовать, − отозвался Кошкин и кивнул Алому.

Быстро пошёл Алый по следу. Бежит за ним Кошкин, старается так поспевать, чтобы ошейником не резало ему шею. Снегирёв бежит чуть сзади.

След − в крутую гору. Видно, что «тяжёлому» трудновато подниматься. Вот он споткнулся... Стоп! Разглядел Кошкин след, и стало ему понятно, что впереди двое, что «тяжёлый» тащит на себе «лёгкого».

Поднялись в гору − след под гору пошёл. Трудно бежать под гору − пороша все камни покрыла. Оступишься − и выскользнет камешек из-под ноги, да так выскользнет, что тебя перекувырнёт в воздухе да об этот камешек затылком трахнет.

След привёл к дороге, и там Кошкин понял вот какую штуку: «тяжёлый» отпустил «лёгкого». Тот вперёд побежал, а «тяжёлый» его следы затаптывал.

Ух, горные дороги! Справа − скала, слева − обрыв, а на дне его − бешеный зелёный ручей. Крутит, вертит дорога вокруг горы − за скалу, за корявую кручу.

Выбежали Кошкин и Алый за поворот − выстрел навстречу. Пуля взвизгнула об камень, ударилась о другой, забилась яростно между камнями, пока не утонула в мягком стволе дерева.

Кошкин и Алый за валуном схоронились, за другим − Снегирёв. Выстрел − заныли каменные осколки, пуля дугой улетела в небо.

Кошкин выглянул осторожно и увидел, как темнеет за камнем рука с пистолетом, покачивается в воздухе... Ударил Кошкин из автомата и разбил её.

Прыжок − Алый взмахнул на спину «тяжёлого», режет когтями его одежду, страшными зубами шею сдавил.

Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. Скорчившись, сидел нарушитель на земле, дрожал, и вокруг него таял снег. Он плевал себе под ноги, и Кошкин Алого в сторону отвёл, будто боялся, что плевки злого человека ядовитые.

Кошкин и Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался пойманного сторожить.

Дорога здесь была уже нахожена-наезжена, и следы «лёгкого» поэтому часто терялись, затаивались среди следов других людей.

Впереди у дороги стоял дом. Тут жил старик Александр. Кошкин оглядел дом, укрывшись за скалой. В узких окошках ничего не было видно, а на диких яблонях, растущих вокруг, сидели куры.

Алый тянул по следу мимо дома, но Кошкин решил зайти, расспросить Александра.

Старик сидел в комнате, завешанной вязками красного перца и косицами, наплетёнными из лука. Он курил трубку.

− Здравствуй, Александр, − сказал Кошкин, придерживая Алого.

Александр выпустил колесо дыма.

− Здравствуй, Кошкин.

− Никого не видел?

− Видел, − сказал Александр и, косясь на Алого, снова выпустил колесо дыма. Оно неторопливо догнало первое, ещё висящее в воздухе.

− Скорее! − сказал Кошкин. − Скорее говори: где он?

Александр подмигнул Кошкину и выпустил третье колесо.

− Не спеши, не спеши, Кошкин, − сказал Александр и, выпустив четвёртое колесо дыма, встал.

Он подошёл к окну и поглядел в него, а потом поманил Кошкина пальцем.

Кошкин выглянул в окно и увидел врага. С крутого откоса тот спускался вниз, к ручью.

Вода раскалывается о камни, грохочет, разлетается пеной, брызгами.

Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами и с внезапным рёвом поворачиваются лениво и грозно набок.

Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами с красными ягодами, за валунами, припорошёнными снегом.

За звоном воды, за каменным гулом не слышно шага, треска колючего сучка под ногой. И не слышно, как орёт в небе ворон, а только разевает рот, пролетая за гору.

Алый медленно ведёт, извивается напряжённо, как живая пружина. Он весь наполнен запахом врага, он видит его.

Тот уже у самого ручья. Остановился, думает, где ручей перейти.

Алый сжался в комок.

Вот Кошкин отпустит его.

Вот отпустил...

Алый расстелился по земле − и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду − и рухнул на врага. Ударил его в спину. Рванул.

Тот упал, но вывернул назад руку и выстрелил в Алого − раз, другой, третий.

Алый вырвал пистолет, и металл будто треснул в его зубах, как чёрная кость.

Кошкин ударил врага, скрутил ему руки...

Зелёные дуги сшибаются в ручье, захлёстывают друг друга, звон выбивают и пену.

Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения лежал Алый на снегу.

Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем.

Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали алыми.

...Алый был жив, когда Кошкин принёс его на заставу. Пули не задержались в его теле − вылетели вон.

Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными. Кошкин глядел в них и не знал, видит ли его Алый.

Но Алый видел Кошкина и понимал, что это Кошкин − мужик хороший.

− Умрёт он, − сказал фельдшер.

Но Кошкин не поверил. Он сидел рядом с Алым и гладил его по голове. Он рассказывал Алому, что скоро получит из дому посылку. А там, в этой посылке, чего только не будет: и колбаса, и сало, и коржики.

− То-то пожуём, − говорил Кошкин.

Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили её, заворожили. Голова его стала такая тяжёлая, что он не смог её больше держать и уронил на передние лапы.

«Жалко мне тебя, Кошкин...» − подумал было Алый, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алый вздрогнул два раза и умер.

А Кошкин никак не мог понять, что Алый умер. Он гладил его и говорил:

− И колбаса там будет, и сало, и коржики...

**Юрий Коваль**

**Елец**

На одной заставе жил пёс, которого звали Елец. Это был уже старый пёс. Настоящую службу он нести не мог.

− Что поделать, − говорил сержант Кошкин, − собаки быстро стареют, не то что человек.

Но конечно, дело было не только в этом. Чуть не десять лет охранял Елец границу. И за это время побывал в разных переделках. В таких, из которых человек-то не всегда целым выходил.

Но Елец всё-таки вышел из этих переделок и теперь жил как бы на пенсии. Горшок борща с хорошей костью − вот это и была его пенсия.

А застава, где жил Елец, находилась на вершине горы, и дороги туда не было. Вместо дороги в гранитной скале были выбиты ступеньки − ровно четыре тысячи. По этим ступенькам каждое утро вниз, в долину, спускался Кошкин и ещё два бойца. Они шли вниз, на базу, а с ними бежал Елец.

Холодно было на вершине.

С заставы бойцы выходили в полушубках, но, пройдя три тысячи ступенек, полушубки снимали и прятали в расселину − с каждым шагом становилось теплей.

Пока они хлопотали на продовольственной базе, Елец лежал на тёплых камнях и сонно хлебал борщ из алюминиевой миски. К полудню Кошкин оканчивал свои дела.

− Ну, − говорил он, подмигивая Ельцу, − теперь бы окрошечки погонять.

Как-то они возвращались на заставу и тащили на себе большие мешки, а Кошкин нёс ещё и бидон с молоком.

Бидон сверкал, и издалека казалось − три горбуна ползут по лестнице в облака и несут с собою зеркало.

Издали на пограничников смотрел человек.

А они обливались потом и старались не считать про себя ступеньки. Но ступеньки считались сами собой: сто одна, сто две, сто три, сто четыре...

У тысячной ступеньки Кошкин поставил бидон, достал из расселины полушубок и вытряхнул ящериц, которые грелись в рукавах.

− Катитесь! − сказал он ящерицам.

С вершины дунул ветер, поднял со ступенек горсть гранитной пыли. Елец зарычал.

К запаху ветра, пришедшего с вершины, подмешался запах человека.

− Чужой, − сказал Кошкин.

− Да нет, это Елец так волнуется, от старости.

«Неужто заметили?» − подумал человек, укрывшийся в камнях, и поднял пистолет.

− Чужой! − повторил Кошкин.

И тут же белый сноп ударил его в лицо. Пуля пробила бидон − молочная струя хлестнула по ступенькам.

Нарушителю показалось, что выстрел сшиб всех трёх пограничников. Только пёс крутился на ступенях. А они отползли со ступенек и повисли над обрывом. Мешки заслонили их.

Нарушитель ещё раз выстрелил в Ельца, и пуля − надо же! − снова ударила в бидон. Он прыгнул от удара и со звоном покатился вниз, разбрызгивая остатки молока.

Бидон сорвался в пропасть, и ветер подхватил его, засвистел в дырках от пуль. Бидон падал в пропасть, словно огромный сверкающий свисток.

Кошкин увидел человека, прижавшегося к камню, и выстрелил. Пуля попала в камень − осколки резанули нарушителя по щеке. Он побежал.

Кошкин ещё раз выстрелил − нарушитель оступился и сорвался в пропасть, где прыгал ещё и бился на дне измятый простреленный бидон.

Как-то сержант Кошкин увидел во дворе продовольственной базы ушастого ишака.

− Это ещё что? − спросил он.

− Ишак, − ответили солдаты с продовольственной базы, − мы на нём продукты возим.

− Дела! − сказал Кошкин. − А как его зовут?

− А никак. Ишак, и всё.

− Вот что, ребята, отдайте его мне.

− Ну нет, − сказали солдаты, − это наш ишак, а не твой.

− Ладно вам, − уговаривал их Кошкин и объяснял, как трудно таскать на гору продукты.

Пока сержант разговаривал с солдатами, Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом в бок. Ишак качнул головой.

− Да не пойдёт он по ступенькам, − говорили солдаты с продовольственной базы, − этот ишак привык ходить по ровному месту.

− Моя будет забота, − ответил Кошкин.

Он привязал на спину ишаку мешки с продуктами и бидон. Потом хлопнул его ладонью и сказал: «Валяй!»

Ишак потихоньку пошёл, покачивая головой.

У скалы, где начинались ступеньки, ишак остановился.

− Так и есть, − говорили солдаты с продовольственной базы (они глядели снизу в бинокль), − этот ишак привык ходить по ровному месту.

− Давай, давай, − подталкивал ишака Кошкин, − валяй!

Ишак не хотел идти наверх. Не то чтобы он упирался или брыкался, а просто стоял, и всё.

− Ишак-то наш, − сказал Кошкин, − видно, глуповат.

Тогда Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом.

То ли нос был у Ельца холодный, то ли, наоборот, тёплый − только ишак качнул головой и пошёл по ступенькам.

«Да что он? Укусил его, что ли?» − думали солдаты с продовольственной базы.

Ишак медленно поднимался в гору, ступенька за ступенькой. Елец бежал рядом и поглядывал, как бы ишак не свалился в пропасть. Так они и добрались до заставы: впереди ишак, за ним Елец, а следом, налегке, Кошкин.

Прошла неделя, другая, и Кошкин перестал спускаться вниз.

Он навьючивал на ишака порожние мешки, хлопал его ладонью и говорил: «Валяй!» Ишак спускался по ступенькам, а следом бежал Елец. На базе солдаты нагружали ишака, тоже хлопали его по спине и тоже говорили: «Валяй!» Ишак отправлялся обратно.

Издали странно было видеть, как поднимается по ступеням в облака маленький ушастый ишак, тащит на себе мешки и бидон, сверкающий, как зеркало, а следом бежит старый пёс Елец.

**Юрий Коваль**

**Козырёк**

Высоко в горах − пограничная застава.

Там совсем не растут деревья. Даже ни одного кустика нигде не видно − всё серые скалы и красные камни.

Круглый год над заставой дует ветер.

Летом он несёт мелкие камешки и пыль, весной и осенью − пыль, смешанную с дождём и снегом, а зимой − снег, снег, снег...

В тот год зима пришла рано. Горный тугой ветер наметал огромные сугробы, разрушал их и взамен выдувал новые, ещё более огромные и причудливые.

Начальником заставы был лейтенант по фамилии Генералов.

− С такой фамилией быть тебе генералом, − говорили ему друзья.

А лейтенант Генералов отвечал:

− Мне и так неплохо.

Рано утром 31 декабря, то есть под самый Новый год, лейтенант вышел на крыльцо и удивился: тихо вокруг и даже солнце светит. Он уже хотел закурить, как вдруг увидел на склоне горы какую-то штуку.

«Это ещё что? − подумал лейтенант. − Неужто козырёк?»

На склоне горы, над обрывом, висел большой тяжёлый сугроб, нахлобученный ветром на камни.

В горах ветер выделывает со снегом всякие чудеса. Вот он смёл его на край обрыва − и получился сугроб-козырёк. Висит он в воздухе, и, на чём держится, непонятно. А сорваться может в любую минуту.

Было очень солнечно, и козырёк светился оранжевым и красным. Под ним лежала ясная изумрудная тень, и в тени этой медленно двигались кривые солнечные зайчики.

Самый край козырька был зазубренный, будто хребет какого-то древнего зверя. Он припал к скале, прижался к камню холодным радужным телом − вот прыгнет вниз и накроет человека широким крылом.

− Да, − сказал старшина Кошкин, подходя к лейтенанту, − противная штуковина.

Они ещё поглядели на козырёк и решили его разрушить.

− А то ведь что может быть, − сказал старшина, − снегу поднавалит, рухнет козырёк и, того гляди, кого-нибудь из наших ребят зацепит.

Лейтенант и старшина надели лыжи и пошли в гору.

Такие козырьки часто обваливаются от громкого звука, поэтому, когда они подошли совсем близко, лейтенант хотел стрельнуть.

− Погодите, − сказал старшина, − чего зря патрон тратить.

Он набрал полную грудь воздуха и вдруг крикнул:

− Полундра-а!

Никакого толку − козырёк не дрогнул.

− П-р-ропади ты пропадом! − крикнул старшина.

Козырёк опять не дрогнул. Тогда лейтенант достал пистолет и выстрелил. От выстрела зазвенело в ушах и что-то где-то ухнуло в ущелье, но козырёк так и не шелохнулся.

− Не созрел, − сказал старшина, когда они шли обратно на заставу.

Солнце быстро пробежало по небу, и день кончился.

А вечером поднялся буран.

Ветер выл, разбрасывал снежинки, крепкие, как пули.

На заставе устроили новогодний ужин. Солдаты пили компот из кружек, потому что вина им нельзя − граница за горами. А горы − вот они. Поиграв на баяне и поглядев новогоднюю ёлку, солдаты легли спать. А лейтенант Генералов подозвал старшину и сказал:

− Тревожит меня этот проклятый козырёк. Как бы не рухнул.

− Буранище крепкий, − ответил старшина, − но будем надеяться, всё обойдётся.

Ветер ещё усилился, всё больше наметал снегу.

Козырёк вырос, распух и уже еле держался над обрывом. Вот он медленно наклонился − кррр! − что-то скрипнуло у него внутри. Он прополз немного и вдруг рухнул с горы.

Страшная снежная волна помчалась вниз, сметая и расшибая сугробы.

Лейтенант Генералов хотел лечь спать, когда услышал какой-то шум. Вот стена дрогнула перед его глазами. Дёрнулся пол. Он кинулся к двери, но дверь сама вылетела ему навстречу. В грудь ударило чёрной волной. И эта чёрная волна − был снег.

Лавина рухнула на заставу. Снег вышиб окна, ворвался в комнату, где спали солдаты, и забил её до потолка. Новая волна сшибла дом с места, опрокинула набок и совсем завалила его.

Лейтенант Генералов пробовал шевельнуться и не мог. Его сдавило так плотно, будто не снегом, а студёной жёсткой землёй. Он забился в снегу, расталкивая его локтями, но холодная тяжесть давила на плечи, и не было сил с ней справиться.

«Ну, всё, − подумал лейтенант, − не выберусь...»

Он задыхался. Широко раскрыв рот, он пытался вздохнуть и втягивал в себя снежную труху. Она таяла на губах, на щеках. Он ударил в снег кулаком, и рука его встретила пустоту − окно, выбитое снежной волной.

Лейтенанту Генералову повезло. Он протиснулся через окно, попал в полосу рыхлого снега и выбрался на гребень сугроба.

В предутреннем свете глянул вокруг и не увидел заставы. Ни крыши, ни стен, ни дверей − снег...

Он крикнул, но никто не услышал его.

Он один выбрался из-под обвала.

Ветер выл, затягивал сугроб узлами, нёс льдинки, которые со звоном впивались в лицо.

Лейтенант пробрался обратно через то же окно, и уткнулся в снежную стену, и стал её разгребать. Руки сразу застыли, сделались вроде деревянные, выструганные из еловой доски, и он разгребал снег, словно двумя лопатками.

Он полз и что-то кричал в темноте, но что это были за слова и какой в них заключался смысл, разобрать было невозможно.

Прошёл, наверно, час. Лейтенант пробил в снегу узкую щель и добрался до койки, на которой всегда спал солдат Игорь Соколов. Койка была пуста.

Стало страшно. Показалось, что нету уже никого под снегом, что все люди умерли, рассыпались и превратились в снег.

Вдруг он почувствовал: шерсть какого-то зверя трогает руками! Будто бы зверь этот спит здесь, в снегу. Это была ветка новогодней ёлки.

«У-у-у-у-у-у-у-у!» − послышалось, и он не мог понять: ветер ли воет, человек ли зовёт. И понял, что рядом живой, что это он кричит, а слов не разберёшь и слышен только глухой жуткий звук: «у-у-у-у-у-у-у-у...»

Старшина Кошкин пробирался навстречу лейтенанту, и они столкнулись лицом к лицу в темноте.

Теперь они копали вдвоём и помогли выбраться ещё двум солдатам.

Они нашли фонарь и нашли автоматы и вчетвером уже крушили снег.

Через два часа они откопали всех. Только солдата Соколова нигде не было. Они копали ещё час и нашли Соколова.

А к утру буран поутих. Выбравшись наружу, пограничники увидели, что все постройки на заставе занесены снегом, только радиоантенна торчит, будто метёлочка.

Увязая в снегу, они стали спускаться с горы на соседнюю заставу и поочерёдно несли на руках Игоря Соколова.

Когда наступила весна и снег начал таять, старшина отправился на заставу. С ним пошёл Игорь Соколов. Они долго бродили, разбрасывали снег, разыскивая вещи, заваленные лавиной. Вдруг старшина услыхал какой-то странный звук.

− Слышишь что-нибудь, Соколов?

− Слышу, кто-то слабо хрюкает!

− Слабо хрюкает?

− Слабовато!

− А ну давай лопату!

Они копнули два раза и выкопали... живую свинью!

Три месяца прожила она под снегом − и хоть бы что: Тощая была − смотреть жалко. Всю землю под заставой разрыла, корешки искала, этим и жива была.

Когда об этом узнали на соседних заставах, стали в гости ходить, на свинью глядеть. А пограничники её выходили, давали ей по картошине и прозвали Снежной королевой.

**Юрий Коваль**

**Белая лошадь**

Прошла ночь.

Бледный рассвет поднялся над горой и осветил кругом горы, камни, скатившиеся со склонов, землю. Нашу и чужую.

Плавная тень выскользнула из ущелья и высоко в небе превратилась в слабую точку − неподвижного орла.

Чужая земля − вот она, близко. Такая же земля, как наша: коричневая, потому что наступила уже осень, завяла трава и стебли её высохли.

На самой вершине горы − пограничная вышка. Оттуда далеко видно: и чужую землю видно и нашу.

Видно, как горы стекают со своих вершин, переходят одна в другую.

Камни вокруг и камни, вялая трава, полосатые пограничные столбы... Пустынно.

Высоко стоит орёл в утреннем небе.

Серо и коричнево по горам. Только в одном месте, на пологом склоне, − зелёная полоса. Там бьёт из земли подкаменный ключ, и трава у ключа ещё не умерла от осенних ночных заморозков, держится, зеленеет до первого снега.

Ключ разливается по земле ручьём, и у ручья, в зелёном квадрате, медленно движется светлое пятно − белая лошадь.

Где-то внизу, в долине, она вырвалась из табуна и помчалась в горы. Вдоль самой границы бредёт лошадь, пасётся.

− Всё тихо, − докладывает пограничник с вышки по телефону, − всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

− Белая лошадь?

− Белая лошадь.

− Продолжайте наблюдение.

Вправо, влево, по склону, по ущелью, по нашей земле, по чужой ползут толстые стёкла бинокля. В них плывут каменные россыпи, крутобокий валун искривляется в гранях стекла. Близко перед глазами бродит лошадь.

Солнце приплыло к полудню.

Орёл переместился ниже, и видно теперь, что он совершает медленные круги над землёй.

В ущелье, из которого он поднялся утром, что-то мелькнуло.

Медленно-медленно чуть заметные пятна ползут краем расселины, хоронятся за гребнями камней.

В круглых стёклах бинокля они увеличились − волки.

− Волки! − докладывает пограничник с вышки по телефону. − Идут по следу лошади.

Светлое пятно неподвижно в зелёном квадрате. Лошадь стоит у ручья, охваченная внезапным теплом осеннего солнца. Она покачивает головой, мерно покачивает головой в стёклах бинокля.

Волки приближаются к валуну. Он лежит на их пути к лошади.

Видно в бинокль, как первый волк дрогнул и подскочил вверх. Потом упал, ударил головой в землю. Метнулись в сторону два других волка, и скоро донёсся до пограничника на вышке слабый щелчок − выстрел.

− Старшина Кошкин убил волка, − докладывает пограничник с вышки по телефону, − два других идут по следу лошади.

Светлое пятно выскользнуло из зелёного квадрата − лошадь мчится по высохшей земле.

Бьёт пена из её ноздрей, комья и камешки рвутся из-под копыт.

Волки ныряют в низинки, выносятся на бугры − чуть заметные точки, сплющенные пространством.

Мельтешат копыта, бешено мечется грива, и крутые колени, напряжённо согнутые в беге, дрожат в круглых стёклах бинокля. Видно, как вздулись тяжёлые жилы на шее лошади.

Наша земля легко спустилась с горы, пролегла под полосатым столбом и поднялась вдали уже чужой горою.

Пограничник на вышке видит, что лошадь пересекла границу. Волки бегут чуть ли не вровень с лошадью, но теперь стрелять нельзя − чужая земля.

Это так незаметно. Только пограничный столб, повёрнутый к нам иностранным гербом, отмечает, что уже и шагнуть дальше нельзя.

Вдали, за столбом, видно селение. Прибитые к земле, сложенные из тёмных камней домики − каменные шалаши. Низкие крыши наплывают одна на другую. Это кочёвка. Летом здесь живут пастухи, а сейчас осень − пусто. Вспыхивает под солнцем у крайнего дома то ли осколок стекла, то ли след слюды на камне...

Голова лошади запрокинута. В ярости и страхе она уже не видит, как прыгнул волк, и не чувствует скользящего удара. Тонкой нитью пересекла бок лошади кровавая полоса. Второй волк прыгнул и сам отлетел, закувыркался под откос.

Пограничник на вышке ведёт бинокль: то в наклон, то вбок пересекаются склоны гор, то вперёд, то назад ломаной линией проходит по ним граница.

То входит чужая земля клином в нашу, то наша − в чужую клином.

Белая лошадь бежит по прямой.

Вот она снова уже на нашей земле.

Видно в бинокль, как растёкся кровавый ручей на её боку.

Из щели между скал блеснуло холодом − волк покатился через голову, а второй закрутился на месте и пополз, пополз в сторону.

Автоматная очередь донеслась до наблюдателя на вышке, легко прошелестела и рассыпалась по склонам гор.

− Наряд Молоканова уничтожил волков, − докладывает пограничник по телефону.

Вскинув голову, мчится лошадь и долго ещё перекатывается мелкой точкой среди гор. Только у ручья в зелёном квадрате останавливается.

Видно в бинокль, как она катается по траве, поворачивается на спину...

Пограничник на вышке поводит бинокль вдоль воображаемой линии, тяжело лежащей на земле, − границы...

Круглые стёкла минуют каменные россыпи, натыкаются на полосатые столбы. В них вплывает чужое селение, пустые горы вокруг.

Солнце доплыло до заката.

Орёл отлетел далеко, и уже только в бинокль видно, как стоит в небе неподвижная точка.

− Всё тихо, − докладывает пограничник с вышки по телефону, − всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

− Белая лошадь?

− Белая лошадь.

− Продолжайте наблюдение.

**Юрий Коваль**

**Капитан Клюквин**

На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещённым, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые, − значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

− Сиделый, сиделый, − уверял меня продавец. − С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клёст сидел на своей жёрдочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жёрдочки, взмахнул клювом − семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв − крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя − вверх. Получается что-то вроде буквы «X». Этой буквой «X» клёст лихо хватает подсолнух − трах! − шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, − клюква.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста − Капитан Клюквин.

Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал неспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цик...» − услышал я.

Потом ещё:

«Цик, цик...»

«Убогая песня, − думал я. − «Цик», и всё. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макароны!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Всё утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давлеными кедровыми орехами и коноплёй.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зелёный, лесной, моховой.

И характер у Капитана был весёлый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрёпанного воробья. Скоро от неё оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жёрдочку − своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чём дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», − говорил его взгляд.

Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клёст мигом разгрыз его.

− А теперь ещё, − сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из неё и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решился лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры − тёмные рыбки, рассечённые золотой полосой.

Подводный мир заворожил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а клёст полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломлённый, упал вниз, на крышу клетки...

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит − вроде ручеёк журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тёк он слишком уж медленно, но всё-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнёсся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищённо цокал.

Но скоро он перешёл в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приноравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клёст поёт бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело всё это не так уж прекрасно − корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

Теперь ручеёк потёк более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда − печальной.

А я по-прежнему пилил одно и то же.

Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашёл даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от неё крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать её от грифа. Однако шишка − хе-хе! − была прикручена проволокой. Пришлось долбить её на месте.

Подождав, пока клёст хорошенько вгрызётся в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлёк её по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, всё ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздражённо помахав крыльями, он пошёл пешком по грифу доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту − задребезжала шишка, а клёст подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу.

Синицы увёртывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жёрдочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилётом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара − милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течёт подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж, − думал я, − ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окружённый ёлками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме − напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные, − думал я. − Придётся, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно, − решил я, − пусть сам выбирает».

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натыкал еловых веток.

Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил её на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на её крышу, клюнул зачем-то железный прут и... полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья − и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли тёплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.

**Юрий Коваль**

**Серая ночь**

Стало смеркаться.

Над тайгой, над сумрачными скалами, над речкой с плещущим названием Вёлс взошёл узенький лисий месяц.

К сумеркам поспела уха. Разыскавши в рюкзаках ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока будем есть уху.

− Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами!

Длинной можжевёловой ложкой я пошарил в глубине ведра − рука по локоть ушла в пар. Выловил со дна картошки и рыбьих потрохов − печёнки, икры, − потом зачерпнул прозрачной юшки с зелёной пеной.

− Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами! − повторил Лёша, запуская свою ложку в ведро.

− Садитесь с нами, садитесь с нами, Козьма да Демьян! − подтвердили мы.

Но в наших городских голосах не было уверенности, что сядут за уху Козьма да Демьян, а Лёша сказал так, будто они его слышат.

Костёр мы разложили на низком берегу Вёлса. Наш берег весь завален грязными льдинами. Они остались от половодья − не успели потаять. Вот льдина, похожая на огромное ухо, а вот − на гриб груздь.

− Кто же это такие − Козьма да Демьян? − спросил Пётр Иваныч, который в первый раз попал в уральскую тайгу.

Уху Пётр Иваныч ест осторожно и почтительно. Голова его окутана паром, в очках горят маленькие костры.

− Это меня старые рыбаки научили, − ответил Лёша. − Будто есть такие Козьма да Демьян. Они помогают хариуса поймать. Козьму да Демьяна на уху звать надо, чтоб не обиделись.

По часам уже полночь, а небо не потемнело, осталось ясным, сумеречным, и месяц добавил в него холода и света.

− Это, наверно, белая ночь, − задумчиво сказал Пётр Иваныч.

− Белые ночи начнутся позже, − ответил Лёша. − Они должны быть светлее. Для этой ночи названья нет.

− Может быть, серебряная?

− Какая там серебряная! Серая ночь.

Подстелив на землю лапника, мы разложили спальные мешки, прилегли. Я уткнулся головой в подножие ёлки. Нижние ветки её засохли, на них вырос лишай и свисает к костру, как пакля, как мочало, как белая борода.

Неподалёку, за спиной у меня, что-то зашуршало.

− Серая ночь, − задумчиво повторил Пётр Иваныч.

− Серая она, белая или серебристая, всё равно спать пора.

Что-то снова зашуршало за спиной.

Уха так разморила, что лень повернуться, посмотреть, что это шумит. Я вижу месяц, который висит над тайгой, − молодой, тоненький, пронзительный.

− Бурундук! − вдруг сказал Лёша.

Я оглянулся и сразу увидел, что из-за ёлки на нас смотрят два внимательных ночных глаза.

Бурундук высунул только голову, и глаза его казались очень тёмными и крупными, как ягода гонобобель.

Посмотрев на нас немного, он спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

Но вот снова высунулась глазастая головка. Легонько свистнув, зверёк выскочил из-за ёлки, пробежал по земле и спрятался за рюкзаком.

− Это не бурундук, − сказал Лёша, − нет на спине полосок.

Зверёк вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в брезентовый карман. Там была верёвка. Зацепив когтем, он потянул её.

− Пошёл! − не выдержал я.

Подпрыгнув к ёлке, он вцепился в ствол и, обрывая когтями кусочки коры, убежал вверх по стволу, в густые ветки.

− Кто же это? − сказал Пётр Иваныч. − Не белка и не бурундук.

− Не знаю, − сказал Лёша. − На соболя не похож, на куницу тоже. Я такого, пожалуй, не видал.

Серая ночь ещё просветлела. Костёр утих, и Лёша поднялся, подбросил в него сушину.

− Зря ты его шуганул, − сказал мне Пётр Иваныч. − Он теперь не вернётся.

Мы смотрели на вершину ёлки. Ни одна ветка не шевелилась. Длинные искры от костра летели к вершине и гасли в светлом сером небе.

Вдруг с вершины сорвался какой-то тёмный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырёхугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с ёлки на ёлку, зацепив месяц краешком хвоста.

Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверёк, которого не увидишь днём: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над тайгой.

Крылья у него меховые − перепонки между передними и задними лапами.

Летяга сидел на той самой ёлке, что росла надо мной. Вот сверху посыпалась какая-то шелуха, кусочки коры − летяга спускался вниз. Он то выглядывал из-за дерева, то прятался, будто хотел подкрасться незаметно.

Вдруг он выглянул совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Глаза его, тёмные, расширенные, уставились на меня.

− Хотите, схвачу?

От звука голоса дрожь ударила летягу. Он свистнул и спрятался за ёлку, но тут же высунулся.

«Схватит или нет?» − думал, видно, летяга.

Он сидел, сжавшись в комок, и поглядывал на костёр.

Костёр шевелился и потрескивал.

Летяга соскочил на землю и тут заметил большое тёмное дупло. Это был сапог Петра Ивановича, лежащий на земле.

Удивлённо свистнув, летяга нырнул в голенище.

В то же мгновение я кинулся схватить сапог, но летяга выскочил и побежал, побежал по вытянутой руке, по плечу и − прыгнул на пенёк.

Но это был не пенёк. Это было колено Петра Иваныча с крупной круглой чашкой.

С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на ёлку и быстро вскарабкался наверх.

Пётр Иваныч изумлённо ощупывал своё колено.

− Лёгонький какой, − хрипловато сказал он.

Перелетев на другую ёлку, летяга снова спустился вниз. Видно, притягивал его затухавший огонь костра, манил, как лампа летним вечером манит мотылька.

На меня напал сон. Вернее, не сон − волчья дрёма. Я то закрывал глаза и проваливался куда-то под еловый корень, то открывал их и видел тогда бороду лишайника, свисающую с веток, а за нею совсем посветлевшее небо и в нём летягу, перелетающего с вершины на вершину.

С первыми лучами солнца летяга исчез.

Утром, за чаем, я всё приставал к Петру Иванычу, просил подарить мне сапог, в котором побывал летяга. А Лёша сказал, допивая вторую кружку чаю:

− Не Козьма ли да Демьян к нам его подослали?

**Юрий Коваль**

**Лабаз**

Всё лето геологи искали в тайге алмазную трубку. Но не нашли. Трубка пряталась от них в каменных россыпях, под корнями деревьев.

Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали собираться домой. Перед отъездом к начальнику партии пришёл завхоз по прозвищу Пахан-Метла.

− Остались продукты, − сказал он. − Сто банок сгущёнки, три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда всё это девать?

− Надо поставить лабаз, − решил начальник.

А моторист Пронька, который крутился около разговора, сказал:

− Да зачем это надо − лабазы ставить? Давайте рубанём в темпе продукты, и все дела.

− Это интересно, − сказал начальник, − в каком же темпе рубанёшь ты сто банок сгущёнки и три пуда муки?

− В быстром, − не растерялся Пронька.

− Знаешь что, − ответил начальник, − сходи-ка на склад за гвоздями.

Пронька сходил за гвоздями. Пахан-Метла взял топоры да пилу, и за три дня срубили они в тайге лабаз. Неподалёку от речки Чурол.

Лабаз получился вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он поставлен был на четырёх столбах, а столбы выбраны с таким расчётом, чтоб медведь по ним не мог залезть. По толстому-то столбу медведь сразу залезет в лабаз. А полезет по тонкому − столб задрожит, избушка заскрипит наверху, медведь напугается.

По приставной лестнице наверх подняли продукты и спрятали их в лабаз. Потом лестницу убрали в кусты. А то медведь догадается, возьмёт да сам и приставит лестницу.

Геологи ушли, и лабаз остался стоять в тайге. Посреди вырубленной поляны он стоял, будто избушка на курьих ножках.

Через неделю пришёл к лабазу медведь. Он искал место для берлоги, глядь − лабаз.

Медведь сразу полез наверх, но столб задрожал под ним, зашатался, лабаз наверху страшно заскрипел. Медведь напугался, что лабаз рухнет и придавит его. Он сполз вниз и побрёл дальше. Лестницу он, видно, не нашёл.

Скоро в тайге начались снегопады. На крыше лабаза наросла пышная шапка, а ноги его утонули в снегу по колено. Теперь-то по плотному снегу можно бы добраться до двери лабаза, да медведь уже спал.

Приходила росомаха, но не догадалась, как открыть дверь, полазила по столбам, посидела на крыше под холодным зимним солнцем, ушла.

А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали компот − сушёные яблоки, груши и чернослив.

Весной вернулись геологи. Но теперь искали они алмазную трубку в другом месте, в стороне от Чурола.

− Как там наш лабаз-то? − беспокоился Пахан-Метла.

− Стоит небось, − отвечал ему Пронька.

− Ты сходи-ка проверь. Да принеси сгущёнки, а то ребята просят.

Пронька взял мешок и ружьё и на другой день утром пошёл к лабазу на речку Чурол. Он шёл и посвистывал в костяной пищик − дразнил весенних рябчиков.

«Странная это штука, − думал Пронька, − алмазная трубка. Может быть, как раз сейчас она под ногами, а я и не знаю».

Пронька глядел на ёлки − нету ли рябчиков и под ноги поглядывал − не мелькнёт ли среди камушков какой-нибудь алмаз.

И вдруг − точно! Блеснуло что-то на тропе.

Пронька мигом нагнулся и поднял с земли курительный мундштук из чёрной кости с медным ободком.

«Во везёт! − подумал он. − Геологи трубку ищут, а я мундштук нашёл!»

Он сунул мундштук в карман, прошёл ещё немного и увидел на тропе нарты, запряжённые тремя оленями. На нартах сидел человек в резиновых сапогах и в оленьей шубе, расшитой узорами. Это был оленевод Коля, по национальности манси. Он жил с оленями в горах, но иногда заезжал к геологам.

− Здравствуй, Коля-манси, − сказал Пронька.

− Здравствуй, Прокопий.

− Твой мундштук?

Коля задумчиво поглядел на мундштук и кивнул. Пронька отдал мундштук, и Коля сразу сунул его в рот.

− Вот я думаю, − сказал Пронька, − далеко отсюда будет до Чурола?

Коля-манси задумался. Он долго молчал, и Пронька стоял, ожидая, когда Коля ответит.

− Хороший олень, − сказал наконец Коля, − три километра. Плохой олень − пять километров.

− Давай-ка подвези, − сказал Пронька и лёг на нарты на расстеленную оленью шкуру.

Коля взял в руки длинный шест − хорей, взмахнул, и олени тронули. Видно, олени были хороши, бежали шибко, нарты скользили по весенней грязи легко, будто по снегу.

Быстро добрались они до Чурола, и Коля отложил хорей.

− Надо остановку делать, − сказал он. − Чай надо пить. У оленя голова болит.

− А чего она болит-то? − не понял Пронька.

Коля подумал, пососал маленько свой мундштук и сказал:

− Рога растут.

Из мешка, стоящего в нартах, Пронька взял пригоршню соли и пошёл к оленям. Они сразу заволновались, вытянули головы, стараясь разглядеть, что там у Проньки в кулаке.

− Мяк-мяк-мяк... − сказал Пронька, протягивая руку.

Отталкивая друг друга, олени стали слизывать с ладони соль. Они были ещё безроги и по-зимнему белоснежны. Только у вожака появились молодые весенние рога. Они обросли мягкой коричневой шерстью, похожей на мох.

«Не у него ли голова болит?» − подумал Пронька.

Он поглядел оленю в глаза. Большие и спокойные глаза у оленя были такого цвета, как крепко заваренный чай.

Они пили чай долго и вдумчиво. Коля молчал и только кивал иногда на оленей, приставлял палец ко лбу.

− Рога растут! − серьёзно говорил он.

− Дело важное, − соглашался Пронька. − Сейчас весна − всё кругом растёт.

Напившись чаю, они посидели немного на камушке, послушали, как бурлит Чурол.

− Теперь у оленя голова не болит, − сказал Коля.

− Конечно, − согласился Пронька. − Теперь ему полегче.

Коля сел в нарты, взмахнул шестом своим, хореем, − олени побежали по весенней тропе. Пронька помахал ему рукой и пошёл к лабазу.

Чурол ворчал ему вслед, ворочался в каменном русле, перекатывая круглые голыши.

«Ишь, разошёлся! − думал Пронька. − Ворочается, как медведь в берлоге».

Не спеша углубился Пронька в тайгу, и шум Чурола стал затихать, только иногда откуда-то сверху долетало его ворчание.

Из-за кустов увидел Пронька свой лабаз, и тут в груди его стало холодно, а в голове − горячо. На корявых еловых ногах высился лабаз над поляной, а под ним стоял горбатый бурый медведь. Передними лапами он держался за столб.

Ничего не соображая, Пронька скинул с плеча ружьё и прицелился в круглую булыжную башку. Хотел уже нажать курок, но подумал: «А вдруг промажу?»

Пронька вспотел, и из глаз его потекли слезы − он никогда не видел медведя так близко.

Медведь зарычал сильней и трясанул столб лапой. Лабаз заскрипел. В раскрытой его двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собою стал вылезать мешок муки.

«Мешок ползёт!» − ошеломленно думал Пронька.

Мешок перевалился через порожек лобаза и тяжко шмякнулся вниз.

Когтем продрал медведь в мешке дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову, подхватывая её языком. Вмиг голова бурая окуталась мучной пылью и стала похожа на огромный одуванчик, из которого выглядывали красные глазки и высовывался ржавый язык.

«Карх...» − кашлянул медведь, сплюнул и отбросил мешок в сторону. Распустив пыльный хвост, мешок отлетел в кусты.

Пронька осторожненько шагнул назад.

А наверху в лабазе по-прежнему что-то шевелилось и хрустело. Из двери высунулась вдруг какая-то кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущёнки.

Медведь подхватил банку, поднял её над головой и крепко сдавил. Жестяная банка лопнула. Из неё сладким медленным языком потекло сгущённое молоко.

Медведь шумно облизнулся, зачмокал.

«Кто же это наверху-то сидит?» − думал Пронька.

Сверху вылетели ещё две банки, а потом из двери лабаза выглянула какая-то небольшая рожа, совершенно измазанная в сливочном масле. Облизываясь, уставилась она вниз.

«Медвежонок! − понял Пронька. − А это внизу − мамаша».

Медвежонок тем временем спустился вниз и тоже схватил банку сгущёнки. Он сжал её лапами, но, как ни пыжился, не мог раздавить. Заворчав, медведица отняла банку, раздавила и лизнула разок. Потом отдала банку обратно.

Медвежонок негромко заурчал, облизывая сплющенную банку, как леденец. Подождав немного, медведица рявкнула и лёгкими шлепками погнала его к лабазу.

И тут Проньке вдруг показалось, что медведица оглядывается и смотрит на него исподлобья.

Пятясь и приседая, отошёл Пронька несколько шагов и побежал.

Добежавши до Чурола, Пронька скинул с плеч мешок и ружьё, опустился на коленки и стал пить воду прямо из речки. В горле у него пересохло, по лбу катился пот, и сердце так колотилось, что заглушало Чурол.

«Ишь, до чего додумалась, сатана, − удивлялся Пронька, − медвежонка на столб сажает!»

Вода была ледяная, от неё ныли зубы, и глоталась она со звоном.

Пронька пил и вздрагивал, оглядывался назад: не бежит ли медведица?

Из тайги вылетела к реке кедровка, села на сухую пихту и принялась кричать, надоедливо и грубо, как ворона.

− Чего кричишь! − разозлился Пронька. − Проваливай!

Он подумал, что кедровка нарочно приваживает к нему медведицу. Поднял ружьё и подвёл медную мушку прямо под чёрное крыло с рассыпанным на нём белым горошком.

− Сейчас вмажу третьим номером, покричишь тогда!

Пока Пронька раздумывал, вмазать или нет, кедровка сообразила, что к чему, и улетела.

«Что ж делать-то теперь? − думал Пронька. − В лагерь с пустыми руками идти нехорошо, а к лабазу − страшно».

И тут пришла вдруг ему в голову лихая мысль: попугать медведицу.

Пронька поднял ружьё и сразу из двух стволов ударил в воздух. Не успел ещё заглохнуть выстрел, как Пронька крикнул во всё горло:

− Прокопий! Ты чего стрелял?

Помолчал и ответил сам себе басом:

− Глухаря грохнул!

− А велик ли глухарь-то?

− Зда-а-аровый, чёрт, килишек на пять!

От крика своего Пронька развеселился, его насмешило, как он ловко соврал про глухаря.

«Ладно, − решил он, − пойду обратно! Буду орать на весь лес, издали пугать медведицу. Устрою ей симфонию! Небось не выдержит, убежит».

Не спеша пошёл он к лабазу и действительно устраивал на ходу симфонию: стучал дубинкой по стволам деревьев, ломал сучки, выворачивал сухие пихточки, которые крякали и скрежетали, а потом вытащил из ружья патроны и затрубил в стволы, как трубит лось во время гона.

− Эй, Коля-манси, − кричал Пронька, − у тебя ружьё заряжено?

− А как же, − ответил он сам себе тоненьким Колиным голосом, − пулей заряжено! А у тебя заряжено?

− И у меня заряжено! Пулей «жиган». Самый раз на медведя!

− Эй, Пахан-Метла, а ты чего молчишь?

− Я ружьё заряжаю!

− Прокопий! Надо остановку делать. Чай надо пить! У оленя голова болит!

− А чего она болит-то? Рога, что ли, у него растут?

Уже перед самым лабазом Пронька даже запел.

Размахивая топором, он вывалился на поляну, где стоял лабаз.

Ни медведицы, ни медвежонка не было. В раскрытую дверь лабаза высунулся разорванный мешок, из которого сочилась струйка муки.

− «Ромашки сорваны, − орал Пронька, − увяли лютики!..»

Голос его звучал хрипло, мотив Пронька врал, потому что петь сроду не умел.

Он хотел кончить песню, но побоялся, что медведица где-нибудь рядом, и заорал для острастки ещё сильней.

Под песню разыскал он в кустах лестницу и полез наверх, в лабаз. Там было всё вверх дном.

Пронька слез на землю, поднял сплющенную банку сгущёнки. Медведица так сдавила её, что банка превратилась в жестяной блин.

«Вот уж кто действительно мог в темпе рубануть сгущёнку, − подумал Пронька, − а ведь Пахан-Метла не поверит, скажет: сам рубанул».

Он завернул сплющенную банку в тряпочку и сунул её в карман.

Пронька устал, от криков и от пения у него драло в горле, потому-то разболелась голова.

− Надо остановку делать, − сказал он. − Чай надо пить, а то голова чего-то болит... И чего она болит-то? Рога, что ли, растут?

**Юрий Коваль**

**Лесник Булыга**

Стоял на краю леса домишко-то Булыгин. Старенький был, совсем понурый. Осиновая щепа на крыше покоробилась, а между брёвен изо всех щелей торчал наружу белёсый мох.

Два дня назад началась весна, и эти два дня я добирался до Булыгина жилья, вначале на поезде, а потом пешком по раскисшей весенней дороге.

− Вон оно что, − сказал Булыга, завидев меня. − А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы.

− Или не рад?

− И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал − так и есть, гость пожаловал.

Пока я скидывал на крыльце рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга сходил в избу и вытащил на двор самовар.

Скоро самовар запыхтел на проталинке, засиял старой медью.

− Глухарь токует вовсю, − сказал Булыга.

− Старый петух? − удивился я. − Неужто его не хлопнули?

− Жив, − подтвердил Булыга.

Этого петуха я видел не раз на боровом болоте Блюдечке, только на выстрел глухарь меня не подпускал: старый был, умный.

− А где он токует-то? − спросил я.

− На Блюдечке, где ж ещё, − сказал Булыга. − Только завтра я сам пойду.

− Хлопнуть хочешь?

− А что? Или мы стрелять разучились?

Быстро подступала весенняя ночь, полная самых внезапных и запутанных звуков. Трещали в близком лесу дрозды, протянул над ёлками вальдшнеп − до нас донеслось его цвирканье.

Самовар чуть светился в сумерках, а в нижние его окошечки ссыпались раскалённые угольки.

Совсем стемнело, и самовар поспел. Булыга подхватил его, поперхнулся дымом и, накрыв жерло самовара крышкой с помпончиком, потащил его в дом.

По-прежнему что-то щёлкало в ходиках и темно было в избе, но я проснулся.

Была самая середина ночи. Под подушкой моей чирикал сверчок, а с лавки доносился Булыгин храп.

− Пора вроде... − сказал я.

− Э-эх! − вздохнул Булыга, закряхтел, просыпаясь.

Мы выпили чуть тёплого, с вечера, чая, надели сапоги, взяли ружья и вышли.

Темно-темно ещё было, совсем темно и холодно. Ни месяца, ни звёздочек в небе, да и неба-то не видно − холод и туман. Из лесу струёй бил резкий запах тающего снега, прелых листьев. И тихо было, совсем тихо.

− Лови подсаднуху и валяй в салаш, − сказал Булыга. − А я пойду покамест глухаришку послушаю.

− Взял бы меня, а?

− Нету, − сказал он. − Нечего мне в лесу шуметь да кряхтеть. В салаш иди.

− В салаш, в салаш!.. − заворчал я.

Но Булыга уже пропал в темноте. Треснула ветка, прошуршал снег − ушёл Булыга к маленькому болоту Блюдечку, где глухариный ток.

Подсадные утки жили у Булыги в сарае, в соломенном закутке. И как только я сунулся туда, заорали, оглашенные, стали носиться под ногами, хлопать крыльями.

Я поймал подсадную, засунул её в кошёлку-плетёнку и побежал краем леса к болоту, к шалашу. Утка тяжело переваливалась в садке, крякала под самым локтем, а под ногами на все лады пели-трещали лужицы, схваченные утренним льдом. По клюквенной тропке, вдоль неглубокой канавы, я бежал к Кузяевскому болоту.

В темноте ещё я был на месте. Высадил подсадную на воду и спрятался в шалаше под старой ёлкой, вышедшей из лесу к болоту.

Стало светать, чуть-чуть, еле-еле. Низом потянул ветерок, как раз забрался под полушубок, в раструбы сапог, и скоро я так замёрз, будто всю ночь проспал в весеннем лесу, без костра.

Откуда-то близко, с берёзовой вырубки, потянулся в тишине таинственный шипящий звук, и резкий и плавный одновременно:

«Чу-фффффф! Чу-ффффффышш...»

Это заиграл первый тетерев. Даже не заиграл, а только попробовал, только показал: здесь, мол, я. Но уже отозвался ему другой − понёсся с берёзовой вырубки весенний тетеревиный клич:

«Чу-фффыышшш!..»

И будто подхлестнули тетерева мою подсадную. До этого она всё молчала и охорашивалась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось:

«Кра-кра-кра-кра-кра-кра-кра!..»

Как от удара рассыпалась ночная тишина − забурлили-забормотали тетерева-косачи, так забурлили, будто в их чёрных горлах собрались все весенние ручьи. Заблеяли воздушные барашки-бекасы, ныряя с одной волны ветра на другую, а на дальнем, недоступном болоте в серебряные и медные трубы переливчато заиграли-закурлыкали журавли. И с журавлиной песней выкатилось из туманной пелены солнце и ещё прибавило звону. Огненная стрела просвистела в небе, рассекла его серое дно, и зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула плёнка льда в луже, крикнула выпь, а в бочаге, под самым шалашом, гулко бухнула щука.

Бум!.. − грохнуло невдалеке, там, на Блюдечке. И второй раз: бум-ммм!.. И пошёл этот звук вдоль всего леса, запутался в крайних ветвях, поднял в воздух стаю дроздов с макушки ёлки, и все другие звуки вдруг пропали, словно поперхнулись, но уже через секунду снова бушевали вовсю.

И тут я услышал над головой:

«Трр-трр-трр...»

− Что такое? Что?..

Но не успел я и сообразить, как в воду плюхнулся селезень! И замолчала сразу крякуха, а я медленно-медленно поднял ружьё, которое стало жарким, и не видел уже ничего − только селезень покачивается на волне...

Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко долбануло в щёку прикладом, дробь подняла фонтан вокруг селезня.

Я выскочил из шалаша, и мне открылось всё залитое весной небо, и болото, и селезень, распластанный на воде.

Обалдевшая от выстрела крякуха снова заорала-запричитала, а в бочаге, у шалаша, снова бухнула хвостом щука...

Я достал битого селезня, положил его в шалаш, а в глазах всё стояло, как он качается, качается на волне...

Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость, тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и свист его крыльев над шалашом. Он сделал круг над болотом и только на втором кругу отозвался крякухе. Так странно было слышать утиное кряканье сверху, с неба, что я не выдержал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил влёт.

Селезень взмыл кверху и пошёл выше, выше − эх! − в сторону Блюдечка, на Булыгу! Эх, промазал! Эх! Дурак, дурак!

Я стал выправлять шалаш, а в двух шагах от меня снова ударила в бочаге щука − она была у самой поверхности, тёрлась боками о траву, выдавливала икру. Далеко же она забралась − больше километра отсюда до реки! По болотной-то канаве, против талой воды, и зашла она к лесу бросить икру...

А подсадная всё орала и орала, и глухо бубнили тетерева на берёзовой вырубке...

К обеду я вернулся в избушку. Булыга был уже там. Я наколол щепок, стал раздувать самовар.

А солнце было уже высоко, от его света и от усталости слипались глаза. Только прикроешь их − видишь ослепительно рябую болотную воду, и на ней качается селезень...

− Ну как? − спросил я.

− А никак, − ответил Булыга. − Пустой.

− А что ж глухарь?

− А ничего, − сказал Булыга. − Ну, садимся самовар пить.

Мы пили чай, позванивали ложками, отдувались утомлённо.

− Глухарей в этих местах всех перебили, − говорил Булыга. − Один остался.

Так устали глаза, что я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на ней качается селезень...

− Пошёл я к нему, − рассказывал Булыга про глухаря, − а он и поёт, и поёт, ни черта не слышит. А кому поёт? Ведь глухарки нету ни одной. А он и поёт-то, и поёт...

− По кому ж ты стрелял? − спросил я.

− По нему, по кому же ещё.

− Или промазал?

− Нет, − ответил Булыга. − Маленько в сторону взял. Ладно, хоть душу отвёл.

− Спугнул?

− Нет, и после выстрелов всё поёт. Совсем очумел от весны.

Я снова прикрыл глаза и видел, как один из другого возникают красные и оранжевые круги, а за ними качается на воде весенний селезень... и качается, и качается на воде.

**Юрий Коваль**

**Белозубка**

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полёвки. Темней. И главное − нос! Лопаточкой, как у крота.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а всё-таки мышь, − думал я. − Пусть знает своё место».

А место её было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезала и на другой день.

Да, это была не простая мышь! И главное − нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других − белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал её Белозубкой − наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть всё это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у неё тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, и я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щёлкнул её пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» − закричала Белозубка.

Прижав к груди сухарь, она потащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах её, под гнилым кедровым бревном, было ещё много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать её, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл её стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в гранёную стенку.

«Посидишь немного, − думал я. − Надо тебя проучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай − нет ли там снега? − но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли строгие короткие усы.

Дядя Белозуб обошёл стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под гранёный край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руке третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таёжной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, всё так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно всё обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила она пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчинённых спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик − хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошёл перевёрнутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцем. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съёжившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! − докладывал, наверно, он королю Землерою. − Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? − удивился, наверно, Землерой. − В таёжной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него еще стаканов?»

«Ещё один, треснутый. Но есть под нарами трёхлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру всё-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошёл поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил подержать их ещё немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашёл я сухую пихту и, пока рубил её, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушёл, − докладывали в это время лазутчики королю Землерою. − Сушину рубит и долго ещё провозится. Ведь надо её срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», − предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», − согласился король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевёрнуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал − огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьёт», − докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое − чага?» − спросил король.

«Это − древесный гриб. Растёт на берёзе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», − пояснил королевский лекарь − Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущённо раздувал щёки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, − говорила Белозубка. − Что было − то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! − хлопнул в ладоши король. − Эй, квасовары, кваса!»

Толстенькие квасовары прикатили бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было: «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споёт!» − крикнул король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

Я ничего от вас не скрою,

Я всё вам честно расскажу:

Всю жизнь я носом землю рою

И в этом счастье нахожу.

Своё я сердце вам открою:

Я всех готова полюбить,

Но тот мне дорог, кто со мною

Желает носом землю рыть.

«Мы желаем! Мы желаем!» − закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! − крикнул кто-то. − Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горящей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на верёвочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

Да здравствует мышиный дом,

Который под Гнилым Бревном.

Мы от зари и до зари

Грызём в том доме сухари!

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», − сказала Белозубка.

«Спокойной ночи, − сказал Землерой. − Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал всё внимательно.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду − на земле, на деревьях, на крыше − лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать − бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подыматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

**Юрий Коваль**

**У кривой сосны**

Высокая и узловатая, покрытая медной чешуёй, много лет стояла над торфяными болотами Кривая сосна. Осенью ли, весной − в любое время года казались болота мрачными, унылыми, только Кривая сосна радовала глаз.

С севера была она строга, суховата. Она подставляла северу голый ствол и не прикрывалась ветками от ветров.

С востока ясно было, что сосна действительно кривая. Красный ствол туго загнулся вправо. За ним метнулись ветки, но тут же поворотили назад, напряглись и с трудом, цепляясь за облака, выправили ствол, вернули его на прежнюю дорогу.

С юга не было видно кривизны. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. Вырос будто бы на торфу великий и тёмный гриб.

А с запада кривизна казалась горбом, уродством. С запада походила сосна на гигантский коловорот, нацеленный в небо.

В сухой год в июле над сосною прошла гроза. Торфяная туча навалилась на болота пухлым ржаным животом. Она ревела и тряслась, как студень. От ударов грома осыпалась голубика.

Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, пропахала кору до древесины и нырнула в торф. От этой молнии за год высохла сосна, но долго ещё стояла над болотами, сухая, посеребрённая. Осенний ветер − листобой ухватил её за макушку, поднажал в горб да и вывернул с корнем. Рыхлый торф не удержал корней.

Года через два после того я охотился на торфу.

Была ранняя весна, и утка летела плохо. В болотах млел ещё жёлтый кислый лёд, но на берегах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и груды торфа.

Частым осинником вышел я на поляну, где лежала Кривая сосна. За зиму на неё намело снегу. Корень-выворотень весь зарос им и стоял торчком среди осинника, как белый горбатый бык. В осиннике снег таял медленней, чем на открытом месте, − всюду видны были светлые пятна, а на них зимние заячьи следы.

Вспрыгнув на ствол, я заглянул по ту сторону поваленного дерева. Здесь снега было ещё больше − целый сугроб, и на снегу, притаившись, лежал большой серый зверь.

Рысь!

В глазах поплыли красные пятна, я стал сдёргивать с плеча ружьё, но зверь не шевелился. Постояв с минутку, я осторожно слез на землю, шагнул вперёд.

Вытянув длинные голенастые ноги, запрокинув голову, на снегу передо мной лежал лосёнок. Он был серый, как нелинявший заяц, − тёмная спина цвета осиновых серёжек, а на животе мех светлый, облачный. Глаза его были закрыты. Рядом лежало несколько обглоданных осиновых веток.

Я подошёл и не знаю зачем дотронулся до него сапогом. Нога ударилась, как об пень, − он давно уже окоченел. На боку заметно было белёсое розовое пятно − след огнестрельной раны.

Дело было ясное. Кто-то стрелял в лосёнка и ранил его. Стрелял браконьер, дурак. Он знал: лосей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того, что сделал, убежал домой.

Измученный болью в боку, лосёнок не один ещё день бродил по лесу и пришёл сюда, в осинник у Кривой сосны. Здесь он прилёг на снег и лежал, защищённый корнем-выворотнем от ветра.

Закурив, я закинул за спину ружьё и хотел осмотреть его рану, но замер на месте.

В десяти шагах, в ольховых кустах, приподняв лишь голову от земли, лежала лосиха. Она лежала неподвижно и тяжело, внимательно глядела на меня.

В деревне Стрюково охотников мало. Мужчинам хватает колхозной работы, и в лес бегают двое-трое. Настоящий охотник тут один − государственный лесник Булыга.

Я нашёл его около дома, в саду. Поднявшись на лестницу-стремянку, он обрезал яблоню кривым ножом.

− Слышь, − крикнул я, − лосёнка нашёл! Мёртвого.

− Где?

− У Кривой сосны.

Булыга слез на землю, достал сигарету «Памир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони. Он закурил и сразу окутался дымом. Его морщинистое лицо и вся большая голова походили сейчас на хмурую деревенскую баньку, которую топят по-чёрному: изо всех щелей валит дым.

− На боку рана, − объяснил я. − Кто-то стрелял. А мать лежит рядом, ждёт, что он встанет.

− Лоси у меня на учёте, − сказал Булыга. − Надо глядеть − акт составлять. Пошли − покажешь.

Весь день стояла пасмурная погода, но часам к пяти похолодало, облака частью ушли с неба, стало очень светло. Поля и перелески просматривались насквозь, и чуть ли не за километр заметна была пара тетеревов, сидящих на берёзке.

Я шёл следом за Булыгой туда, к Кривой сосне, и думал: «Кто же это мог стрельнуть в лосёнка? Зачем?»

Неподалёку уже от сосны, в осиннике, Булыга остановился.

− Слушай, − сказал вдруг он, − если это ты его стукнул, честно скажи.

Глянув мимо меня, он отвернулся.

Всё так же вытянувшись и закинув голову, лежал на снегу лосёнок. Лосиха рядом, в ольховом кусту. Она, наверно, не вставала с тех пор, как я ушёл. Хрипло крича, над поваленной сосной летали две сороки.

Булыга оглядел следы на снегу и на торфе, потом подошёл к лосёнку и наклонился над ним. Тут же послышался тревожный треск.

С трудом, неуклюже лосиха поднялась на ноги. Она казалась огромной на тонких, сухих ногах, и особо велика была её голова с насупленной губой. Ноги у неё дрожали.

− Экое буйло, − сказал Булыга, отходя на всякий случай в сторону. − Сгас твой парень, сгас...

Вздёрнув губу, лосиха прикусила осиновую веточку, сгрызла с неё кору.

− А я думал, это ты его ударил. Теперь вижу: не ты. А если не ты, тогда Шурка Сараев. Только он в лес ходил, искал, говорит, косачиные тока.

Лосиха поглодала осиновой коры, потом переломила зубами ветку и подошла к лосёнку. Постояла, наклонилась, положила ветку на снег.

Следующим утром налетели на деревню Стрюково скворцы. Они свистели на всех заборах, на вербах, на сараях. Дороги и оттаявшие огороды были усыпаны скворцами, будто подсолнечными семечками.

А за огородами, над полем, подымаясь высоко в небо, непрерывно пели жаворонки. Тёплое сдобное облако, плывущее над землёй, было утыкано жаворонками, как изюмом.

Утром я пил у Булыги чай, и за чаем мы помалкивали, ожидая Шурку Сараева. Мы фыркали, отдувались, кривились от кислой клюквы!

− Эй, хозяин! − заорал с улицы Шурка Сараев. − Дома, что ли?

Прогремев дверью, Шурка вошёл в дом, прислонил к стене ружьё, а сам присел на порог.

− Иди в комнату.

− Дак сапоги грязные.

− Скинь.

В белых вязаных носках Шурка прошёл в комнату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной вышитого на покрывале голубого петуха.

− Рассказывай, Шурка, как дело было, − сказал Булыга.

Голос его звучал спокойно, но в нём слышалась будущая гроза, и Шурка забеспокоился:

− Како?

− Тако! − передразнил Булыга, торопливо отхлёбывая чай. − Ну-ка, подай ружьё!

− Како? − снова не понял Шурка.

− Твоё! − рявкнул Булыга и закашлялся, подавился клюквой. − Подай сей момент!

Шурка вскочил с дивана и за дуло выволок ружьё из прихожей. Оно зацепилось за порог и не протаскивалось в комнату, упиралось.

− Ты не ори, − сказал Шурка, подавая ружьё и не понимая ещё, в чём дело. − Разберись вначале, потом ори.

− Мы уж во всём разобрались, − угрожающе сказал Булыга. − Всё замерили. Знаем, чьё это дело.

Шурка напряжённо присел на диван, голубой петух выглядывал из-за его плеча.

Булыга переломил ружьё и понюхал ствол, а затем стал вроде бы исследовать ружьё Шуркино изнутри.

− Так точно и выходит, − сказал он и сунул мне под нос переломленное ружьё. − Видишь?

Поглядев на ржавый, несмазанный замок, я буркнул:

− Вижу.

− Вот и я вижу, − сказал Булыга и резко встал из-за стола. − Ружьё, Шурка, придётся у тебя отобрать.

Отворив шкаф-гардероб, он сунул в него Шуркину тулку.

− Ты погоди, погоди, − сказал Шурка, вскакивая с дивана и хватая Булыгу за локоть. − Не балуй! Ты ружья не покупал!

− Сядь! − сказал Булыга, отворачиваясь от шкафа. − Сядь, отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу?

− В ту субботу.

− Стрелял?

Шурка кивнул:

− Утицу.

− Врёшь! Утка ещё не летела. Кого стрелял? Говори!

− Кого надо! − заорал Шурка. − Чего ты пристал, булыжник!

− Ну, ладно, − сказал Булыга, внезапно успокаиваясь. − Суд разберётся.

Слова эти Шурку ошеломили, он окостенел, тупо разглядывая блюдо с клюквой.

За окном свистнул скворец, солнечный заяц пробился через ящик с рассадой, стоящий на подоконнике, забегал по дивану, по голубому петуху.

− Я ведь ничего такого не сделал, − тоскливо сказал Шурка. − И стрельнул-то разок − пугнуть хотел.

У Шурки Сараева карие глаза. Он умеет играть на гармони.

Каждый вечер приходит Шурка в клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пум-ба-па, пум-ба-па...

Льётся из гармони музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и сильно давит левой рукой на басы.

За музыку Шурку в деревне уважают. Не всякий сыграет на гармони, да ещё чтоб левая рука поспевала за правой, а правая не ревела белугой, ласково нажимала на кнопочки.

Потерянный сидит сейчас Шурка на Булыгином диване − голубой петух нацелился ему в висок.

− Ну, это... − говорит Шурка. − Ну, так уж получилось. Ну, шёл я, а тут лосиха. Выскочила из куста − и на меня. Хотела, наверно, затоптать. Ну, я и пугнул, чтоб отстала.

− А как же в лосёнка попал? − спросил я.

− Так я ж мимо стрелял! − обрадовался почему-то Шурка. − По кустам, а там лосёнок стоял.

− Ты что ж, его разве не видел?

− Не видел, не видел, где там увидеть − кусты, ёлочки...

Шурка крутился на диване, глядел то на меня, то на Булыгу: верим или нет?

− Ступай на двор, − сказал Булыга. − Возьми лопату.

− Зачем?

Булыга не ответил, и Шурка решил, видно, не спорить; встал, прошёл в своих белых носках по половикам, кряхтя, надел у порога сапоги и тихонько хлопнул дверью.

− Пошли и мы, − сказал Булыга. − Надо лосёнка прибрать, а то ведь она не отойдёт от него. Сгаснет.

Во дворе Булыга срезал бельевую верёвку, навязанную на берёзы, и мы пошли к Кривой сосне. Шурка с лопатой на плече шёл впереди и на поворотах тропы останавливался.

− Ты только до суда не доводи, − просил он Булыгу, виновато взмахивая лопатой.

В осиннике снега почти не осталось. Сугроб, на котором лежал лосёнок, съёжился, пожелтел, под него подтекла тёплая лужа. И лосиха лежала теперь подальше от Кривой сосны и смотрела в сторону, на торфяные болота.

− Подойди-ка поближе, − сказал Булыга. − Погляди.

− Чего я буду глядеть? − сказал Шурка недовольно и отвернулся, играя лопатой.

− Гляди.

− Ну гляжу. Ну и что? Чего пристал?

− Копай яму, − сказал Булыга и плюнул мимо Шурки.

− Ну выкопаю, ну и что?

Шурка прошёлся по поляне вокруг сосны, потыкал лопатой.

− Земля-то мёрзлая, − уныло сказал он.

Наконец он примерился, нашёл какую-то небольшую ямку, стал её расширять. Торф поддавался плохо: не оттаял как следует. Шурка копал мучительно, часто останавливаясь отдохнуть.

− Ну, яму я выкопаю, ладно. Только ты до суда не доводи. Она меня затоптать хотела. Вон какая морда, она нас всех потопчет!

Лосиха повернула голову на шум, но не вставала, а только смотрела, что делает Шурка.

Через час яма была готова, и Шурка обвязал ноги лосёнка бельевой верёвкой. Потом, закинув верёвку на плечо, стал подтягивать его к яме.

− Помогите, что ль, − сказал он, напрягаясь изо всех сил.

Я хотел было подсобить ему, чтоб скорее кончить всё это тяжёлое дело, но Булыга взял меня за рукав.

− Пускай сам, − сказал он. − Сам убил − сам пускай хоронит.

Уже у ямы лосёнок застрял в кустах. Шурка дёрнул яростно и оборвал верёвку.

− Барахло! − закричал он, чуть не плача и махая обрывком. − Верёвка твоя дрянь! Гнилушка.

− Надвяжешь.

Затрещали кусты − лосиха медленно поднялась и пошла к Шурке, высоко подымая ноги, выбирая место, куда ступить.

− Она ведь убьёт! − закричал Шурка, бросая верёвку. − Она меня помнит!

− Небось, не убьёт, − сказал Булыга. − А убьёт − похороним. Яма-то как раз готова.

Шурка сплюнул, поглядел ещё на лосиху и вдруг бросился в сторону.

− Куда? − закричал Булыга.

Но Шурка не отвечал, ломал сучки, выбираясь на тропу.

− Вертайся, дурак! − заорал Булыга.

Выйдя из кустов на поляну, лосиха остановилась, подняла кверху голову, так что стала видна её коротенькая бородка, и захрипела. Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней свалялась и висела клочьями.

− Опасно всё-таки, − сказал я. − Может убить.

− Небось, не убьёт, − повторил Булыга. − Сама еле дышит.

Лосиха обнюхала верёвку, шумно выдохнула, отошла и снова тяжело легла в кусты.

− Эй, − закричал Булыга, − вертайся!

− Не вернусь! − откликнулся Шурка неподалёку. − Она меня помнит!

Перемазанный торфом, с разодранным лбом вышел Шурка к сосне, боком-боком подошёл он к лосёнку, наклонился, взял в руки верёвку.

− Я сделаю, − сказал он. − Постараюсь. Ты токо до суда не доводи.

Спустив лосёнка в яму, Шурка стал её торопливо забрасывать землёй.

− Всё, − сказал он. − Теперь всё. Пошли домой.

− Погоди, − сказал Булыга. − Посмотрим, что она будет делать.

Лосиха долго ещё лежала на месте, потом поднялась и пошла к торфяной куче, наспех набросанной Шуркой. Подняв голову кверху, она вдруг коротко захрипела, забормотала что-то и легла животом на торфяную кучу.

**Юрий Коваль**

**Картофельная собака**

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды».

От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копчёного леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на тёплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться.

...Весной и летом я жил неподалёку от Томилина, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нём ни сада, ни дачи − росли две ёлки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

− Яблоки, а не картошка! − расхваливал он свой подарок. − Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на брёвнах, глядя, как между ёлками вырастает новое сизое и кудрявое дерево − самоварный дым.

− Надо тебе собаку завести, − говорил Аким Ильич. − Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы − во! Башка − во!

− Что за имя − Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

− Тузик хорошее имя, − спорил Аким Ильич. − Всё равно как Пётр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря − не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли тёплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нём спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под ёлками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щёки, чтоб побрить. Дело своё парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела чёрная и лохматая собачья рожа с жёлтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пёс этот облизывал моё лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

− Это тебе подарок! − кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. − Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок − Тузик − наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

− Посмотри-ка, − сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей − вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным рёвом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно − злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

**ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!**

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака − вот ужас-то!

В дачном посёлке скоро прошёл слух, что картофельная собака − штука опасная.

− Дядь! − кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. − А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглёр, ловил её на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дёрнул поводок − Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

− Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой варёной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

− Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принёс домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мёртвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдёт разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

Сердечно улыбаясь, шёл он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

− Жирная, − сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

− Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился весёлый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

− Понял или нет?! − сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

− Что делать-то с нею? − спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

− Подождём, пока придёт хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать её фуганком. Он работал легко и красиво − фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

− Курица тухнет!

Громила Тузик прилёг под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

− Курица тухнет!

− Так что ж делать?

− Надо курицу ощипать, − сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

− Заводи-ка, брат, костёр. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

− Пообедаем, как люди, − сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас − лесной костёр, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина...

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

− Эй, товарищи! − послышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

− Эй, товарищи! − кричал он. − Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

− В чём дело, земляк? − крикнул Аким Ильич.

− В том, что эта скотина, − тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, − утащила у меня курицу.

− Заходи, земляк, − сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, − чего через забор попусту кричать.

− Нечего мне у вас делать, − раздражённо сказал хозяин курицы, но в калитку вошёл, опасливо поглядывая на Тузика.

− Сядем потолкуем, − говорил Аким Ильич. − Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

− «Десять»!.. − презрительно хмыкнул владелец. − Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

− Очко! − восхищённо сказал Аким Ильич. − Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, − продолжал Аким Ильич, подумав, − мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

− Не знаю, − недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

− Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

− Я с этой картошкой совсем измучился, − сказал хозяин курицы. − Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам всё макароны, макароны...

− Картошки у него нету, а? − сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. − Так ведь у нас целый мешок. Бери.

− На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

− Картошка хорошая! − лукаво кричал Аким Ильич. − Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с неё мундир, сказавши:

− Пирожное.

− Нешто попробовать? − засомневался владелец курицы. − А то всё макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил её хозяйственно и надкусил.

− Картошка вкусная, − рассудительно сказал он. − Как же вы её выращиваете?

− Мы её никак не выращиваем, − засмеялся Аким Ильич, − потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо.

− Пусть ведро насыплет, и хватит, − вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

− У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

...На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к ёлке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дёргал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошёл месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завёл себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на своё лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками − с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстёгивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса?

Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с рёвом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, всё-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с неё и растерзать вошедшего.

− Собак распускаете! − сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашёлся что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошёлся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

− Это вы Пичугин?

− Да нет, − растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной причёской».

− На эту собаку поступило заявление, − сказал сержант, − в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

− Всего одну курицу, − уточнил я. − За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

− Это очень мирная собака, − заметил я.

− А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил её Тузику. Тузик ловко перехватил её в полёте и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

− Странное животное, − подозрительно сказал сержант. − Картошку ест сырую. А погладить его можно?

− Можно.

Только тут я понял, какой всё-таки Тузик великий актёр. Пока сержант водил рукою по нечёсаному загривку, картофельный пёс застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнёт сержанта в руку, но Тузик удержался.

− Странно, − сказал сержант. − Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я её вдруг глажу.

− Тузик чувствует хорошего человека, − не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

− Растрёпин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

− Ну молодец, молодец, − сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

− Ещё одна курица, − крикнул издали сержант, − и всё! Протокол!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику − на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брёл следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками, да что-то всё мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошёл и прилёг рядом. Играть ему не хотелось.

Я всё-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал её терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

− Хороший год, − говорил Аким Ильич. − Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у каждого в руке был осенний букет.

Прошёл товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

− Ну, чего ты расстроился? − говорил мне Аким Ильич. − В твоей жизни будет ещё много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

− И так яблоку негде упасть, − закричали на нас в тамбуре, − а эти с собакой!

− Не волнуйся, земляк! − кричал в ответ Аким Ильич. − Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина...

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали берёзы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах − яблоками.

**Юрий Коваль**

**Гроза над картофельным полем**

Был странный августовский туман. Он клубился оранжевым и так занавесил ручей, что трудно было разобрать, где же солнце. Но оно взошло и подсвечивало влажные валы тумана, а от ручья по низкому лугу тянулся запах таволги и хвоща.

Я шёл берегом, надеясь поднять уток, но видел только сплетенья тумана и метёлки-языки приболотной травы. С каждым шагом сочно лопались под ногами её стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро я стал мокр и облеплен созревшими семенами.

Немного я прошёл, как дрогнула сеть тумана − обрушился на меня близкий выстрел, а за ним − шум поднимающихся с воды крякух.

− Тпр-р-р-у-у-у-у!.. − закричал кто-то им вслед. Потом, видно, ещё раз насупонил губы, как делают, останавливая лошадь, и снова: − Тпр-р-р-у-у-у!..

Уток я не мог увидеть, только слышал, как они сделали круг и утянули к лесу.

− Эй! − послышалось недалеко. − Эй, Николай!..

− А-а...

− Чего убил?

− Ко-лен-ку-у-у... − тягуче сказал Николай.

В тумане ответ Николая показался особо глупым и безнадёжным. Я присел на коряжку − спешить было некуда, уток перешумели. Было слышно, как медленно чопают впереди охотники. Они перекрикивались каждые две минуты, боялись, что ли, в тумане потеряться.

Скоро снова впереди лопнул выстрел.

− Эй, чего убил?

− Колен-ку-у-у!..

− Тьфу ты! − плюнул я и низким торфяным голосом пустил вдоль ручья: − Э-э-э-э-э-эй!..

− А-а-а? − дружно отозвались Николай с приятелем.

− В трясину у-тя-ну-у-у-у...

− А-а?

− У-у-тя-ну-у-у... у-тя-ну-у-у-у!.. − снова пригрозил я.

− Ты кто? − крикнул Николай.

Я ответил таким нелепым голосом, какого и сам от себя никогда не слышал:

− Леший я! Ле-е-е-ший...

Тут прозвенело что-то. Овалы тумана зашевелились, задрожали, и солнце разом развалило их.

Вспыхнул ручей. Стало видно, как он стелется по низкому лугу в глубину леса. Нигде не было охотников − вдаль стояли стога, нахлобученные на обкошенные пригорки. От них лился запах свежего сена...

Ясны обычно и солнечны августовские дни. Этот день был особый. То вдруг пригонял ветер облака − становилось темновато, то облака быстро раскисали в воздухе. При светлом небе громыхало неподалёку, и находил на лес пасмурный свет − только какая-нибудь сосна вспыхивала под одиноким лучом.

Когда солнце пошло к закату, я бросил пустую охоту, набрал маслят и на краю сосняка у картофельного поля поставил палатку. Надо было костёр палить − грибы варить.

Над полем собиралась грозовая туча, да как-то всё не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом.

− Дочк, Дочк, Дочк... − послышалось с поля.

По меже шёл парнишка в ковбойке и покрикивал.

− Тёлку потерял?

− Овцу, − сказал он, подойдя.

− Ты из Шишкина?

− Нет, с Екатериновки. Генка я, дядипашин.

Я знал дядю Пашу, перевозчика из Екатериновки. Он не раз перевозил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде.

− Ну, садись, суп с маслятами пробуй.

− Искать надо... Дочк, Дочк, Дочк!..

Генка был невелик, лет двенадцати. Он пошёл дальше по опушке, покрикивая своё.

За краем неба начался глухой скрежет. Он всё нарастал, нарастал, превращаясь в отчётливые удары грома. Неожиданный луч пал на картофельное поле, зажёг ботву зелёным светом, и быстро земля всосала его. Я залез в палатку и прихлёбывал понемногу суп. Было слышно, как тяжело повёртывались в небе огромные жернова, но выбить искру им ещё не удавалось, они ещё не разгулялись и только притирались друг к другу.

Ссссссссссссссс!.. − услышал я и подумал, что это мелкий дождик шелестит. Высунулся из палатки узнать − было темно и сухо, и ни капли не упало на руки, на лоб.

− Дядень! − крикнул издали Генка.

− Эй!

− Гроза собирается.

− Лезь в палатку, − сказал я. − Пересидим...

Генка залез в палатку, и я сунул ему ложку.

− Только от стола, − сказал он, но ложку взял, и мы стали есть суп, прихлёбывая по очереди.

− Ну, как супок? − спросил было я, но тут возникла ослепительная искра, просветила каждый шов палатки и так грохнуло, что зазвенело в затылке, а Генка охватил меня руками, железными от страха.

Снова всё стихло, и даже жернова перестали в небе переворачивать друг друга.

− Во долбануло! − сказал Генка.

Я хлебнул супа, и показалось, будто вкус его после удара молнии изменился.

Ссссссссссссс!.. − снова начался непонятный звук, вначале как шелест капель, потом набрал скорость и потянулся над головой томительной длинной пулей.

− Что это, а?

И со звоном ударило по крыше палатки, она туго загудела − брезентовый колокол.

Я высунулся наружу, и на голову мне обрушился поток воды, пригнул голову к земле, в глазах возник корень огненного дерева. Страшный удар лопнул над нами и полетел окрест, выворачивая наизнанку картофельную ботву.

И снова молния − пляшущая берёза − вонзилась в поле. А земля ухватила её с таким звуком, как будто болотная трясина − выпавший нож. Задёргалась, затряслась другая молния, ища место, в которое ударить, и − пропала. И, бешено чередуясь, возник будто бы лес ослепительных корней...

− Дядень, дядень...

...но только корни эти не высасывали из земли соков, а сами вбивали в неё свою белую голубую кровь.

Я втянул голову в палатку, как черепаха в панцирь. Генка прижался ко мне покрепче, зажмурился, и я плотно закрыл глаза, но всё равно рассекал их свет молний, проникал в голову.

Ливень заливал, и брезент не гудел уже, палатка обмякла, стала вялой и прозрачной, не плотнее блина.

− Глянь, дядь, не видно овцы-то?

Я снова высунулся наружу и в свете молний увидел, как мечется по краю поля лохматое призрачное пятно. Это была овца. При каждом ударе грома она выпрыгивала из травы, как собака.

− Дочк, Дочк, Дочк! − закричал Генка и выскочил из палатки, побежал через поле.

Птичьей клеткой вспыхнула перед глазами его ковбойка, и Генка плеснул руками в сполохе света.

Я вылез из палатки и побежал следом за ним.

Ливень навалился на плечи, хотел расплющить, растворить, вогнать в землю. Щербатым гребнем, частоколом стояли вокруг молнии − сочные, разветвлённые, как вилы. Гром бил − и небо вскидывалось в пене...

− Обходи! Обходи её... обходи!

Зачарованная вспышками, овца прыгала на одном месте, будто дожидалась, когда же влепит прямо в неё. Между молниями вдруг слышалось:

«Э-э-э-э-э-э-э...»

Я бежал и тоже подпрыгивал − «Дочк, Дочк, Дочк!..» − давил картофельную ботву. Она лопалась, хрустела, вскрикивала под ногами, подкидывала вверх, под молнию. Я ждал, как молния настигнет меня, ударит в затылок и − в землю. Я чувствовал эту пустую точку на затылке. Вот упаду, расколюсь со звоном, как бутылка, разбитая дробью.

Генка бежал шагах от меня в десяти. Голова его за картофельными кустами вдруг загоралась серебряной кочерёжкой.

− Заходи!.. Заходи!

Уах! − влип в поле дрожащий гвоздь − белая молния. Выбрызнула из земли недозревшая картошка. Овца, подпрыгнув, повисла над чёрной ботвой.

Я кинулся на неё, выставив руки, и она снова прыгнула − шальной невиданный зверь, вроде единорога.

Я схватил её за шею, и тут же ослепительный огонь вывернул глаза, растянул их до ушей. Вскипел воздух, и голова моя закружилась над картофельным полем, плавно и мягко светясь...

− Башку ей прикройте, дядь! − кричал подоспевший Генка и лупил овцу по чём попало.

Оттянув с живота свитер − «Дочк, Дочк, Дочк!..» − я подсунул под него овечью голову, пятясь потянул её к палатке − вот наткнусь спиной на столб молнии, стоящий в земле. И медленная молния, плавная, как масляная струя, потекла, подрагивая, прямо по щеке и, сухо расколовшись, угасла.

Мы затянули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, припала к рёбрам − овца казалась ягнёнком.

Ссссссссссссс... − снова послышалось над головой. Вспыхнула молния, и я увидел, как бьётся в углу палатки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя стрекоза...

Скоро гроза вколотилась в землю, смягчила резкие удары ливнем, иссякла. Молниеносные тучи ушли. Иногда только раскидывался на небе сполох − небо передёргивалось и темнело.

− Пойдём к нам, дядь, − сказал Генка. − Обсохнешь хоть.

− Да ладно... У костра обсохну. Палатку собирать неохота.

Я взял ружьё и, посвечивая фонарём, пошёл проводить Генку да заодно поискать в сосенках сучков, пригодных для костра. Луч фонарика освещал пучки сосновых иголок. От ударов ливня они повернулись остриями к земле.

− Эй!.. − донеслось откуда-то.

Мы остановились, прислушиваясь, и даже Дочка, Генкина овца, замерла на тропинке.

− Эй, кто там с фонариком? − снова донеслось с другой стороны картофельного поля.

− Молчи, дядь, молчи! − шепнул Генка.

− Почему? − неуверенно спросил я.

− Кто его знает, чего он кричит...

Мы постояли немного, помолчали и снова пошли потихоньку краем поля. Рыхлой была земля под полёгшей травой, и слышно было, как жадно, взахлёб, булькая, журча, всасывает она воду. Лужи разлились под ногами. Глинистая тропинка была − скользкая рыба налим.

− Эй, с фонариком!..

− Эй! − ответил я.

− Помогите...

Голос тревожно оборвался, заглох в сыром воздухе.

− Дядь, − сказал Генка, − мне домой надо. А то поздно. Отец будет ругать.

− Давай, − ответил я. − Будь здоров. А я схожу узнаю, чего он там орёт.

Я включил фонарик и пошёл по меже, прямо через поле. Генка остался было на тропинке, но потом, обругавши для чего-то овцу, потянул её за собой, догоняя меня.

− Узнаю хоть, чего он там орёт, − сказал Генка, и мы побежали через картофельное поле.

За мутью, проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна − плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах.

Плод на невидимом стебле − покачивалась луна в дрожащей пелене.

На бегу я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электрическое пятно, выхватывающее чёрные султаны картофеля и соцветия его, сочные после дождя, как сирень. Овца то путалась где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперёд и спотыкалась, дико оглядываясь.

В электрическом пятне, над волнами картошки, я увидел тёмную фигуру. Человек, очень длинный, жердеобразный, кланялся земле и кричал, размахивая руками:

− Эй, с фонариком, беги шибче!..

Он горстями захватывал землю и скидывал её в одно место, насыпал земляной холмик. Неприятной, чем-то опасной показалась мне эта фигура, не хотелось к нему подходить, да и Генка тормозил меня за рукав.

− Ты кто будешь? − спросил я, остановившись шагах в пяти.

− Да Грошев я с Большой Волги! − закричал он, как будто я всех должен был знать на Большой Волге. − Охотимся мы здесь.

− А зачем звал-то?

− Молния друга зашибла! Помогай! Заваливай!

− Погоди, − не понял я. − Молния? А где ж друг-то?

− Да вот он, − сказал Грошев и ткнул под ноги, наклонился, ухватил земли в пригоршни.

Землёю он покрывал человека. Торчала наружу из холмика голова, и ясней лица видны были круглые картофелины, вырытые из земли. Страшным, обугленным показалось мне это лицо, и я не решался направить на него фонарик.

− Насмерть?

− Да не знаю я! − испуганно закричал Грошев. − Как молния лопнула, зашипел и лежит, а я-то в сторонке был, у сосенок.

− Что ж ты его хоронишь? Может, он жив?

− Так полагается. Полагается землёй засыпать. Посвети-ка.

Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками, чмокнуло что-то в ботве.

− Это верно, дядь, − зашептал Генка. − Земля молнию из человека обратно высасывает.

− Засыпай, засыпай скорее, что стоишь!

Я скинул куртку, бросил ружьё, ковырнул ладонями землю. Взрыхлённая ливнем, она легко расступалась под руками, выламывалась жирными тяжёлыми комьями. Генка захлестнул овечью верёвку петлей на руке и быстро-быстро стал выгребать землю из-под кустов картошки.

− Коля, вставай! Коля! − бормотал Грошев, обращаясь, как видно, к человеку, лежащему в земле.

Мгновенно прошиб пот. Я не видел в темноте, куда бросаю землю, и не разбирал, где земля, где картошка. Генка прерывисто дышал рядом, и подпрыгивала овца на соседней меже.

Горстями, комьями безостановочно кидали мы землю. Грошев сгибался-разгибался, как колодезный журавель.

− Давай, давай! − подгонял он и тут же сбивчиво начинал объяснять, как было дело: − Кругом блестело, кругом. Ну гроза! А я-то в сторону глядел. Вдруг смотрю − лежит... Куда она ударила? В голову или нет?

− Земля молнию высосет, − шептал Генка и вдруг громко кричал: − Дочк, Дочк, Дочк!..

«Э-э-э-э-э...» − отвечала Дочка и дёргала верёвку, рвалась домой.

− Хватит, − сказал я. − Толку нет. Так мы его землёй задушим.

Со стороны я осветил фонариком лицо лежащего. Оно было черно, неподвижно. И глаза были закрыты. Надбровные дуги, вобрав свет, казались особо выпуклыми.

От сполохов свинцом блестела вокруг картофельная ботва. Было б странно, если б из неё поднялась сейчас живая птица с перьями, клювом, глазами.

− Надо сердце послушать.

− Какое сердце! − раздражённо закричал Грошев. − Пускай ток в землю уйдёт.

− Видишь − не уходит.

− Что ж делать? Что ж делать? В деревню, что ль, бечь! Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?

Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно − слушать под ней, как слушать отпиленную чурку.

Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка − всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю.

− Дядь, дядь! − закричал Генка. − Ведь он одетый!

Одежда не пускает ток!

− Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее... Надо раздеть...

Я схватился за пуговицу, рванул... Где нож?

− Как же я забыл! − стонал Грошев. − Раздеть надо... Где нож? Режь, разрезай китель.

− Ген, посвети... Да нет, сюда свети!

Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

− Оставь сапоги... Сюда свети.

Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землёй.

Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой.

− Надо железо приложить!

− Какое железо? Где оно? Засыпать полагается.

− Дядь, дядь, ружьё, оно железное.

Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

− Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, − говорил Генка. − Оживает, оживает...

− Поздно, − сказал Грошев. − Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

− Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите...

− Беги, Ген, в деревню.

− Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.

Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.

− Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!

− Надо искусственное дыхание, − сказал я.

− Какое дыхание! − раздражённо вдруг крикнул Грошев. − Засыпать полагается! − И тут же обмяк. − Ну, делай, делай дыхание-то.

− Да я и сам не знаю, как его делать.

− Руками же надо разводить! − умоляюще сказал Генка. − Быстро-быстро!

Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил.

Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

− Сейчас оживёт, − убеждал Генка. − Ещё, ещё...

− Раз-два... − стал приговаривать я.

− Раз-два... Раз-два... − поддержал Генка. − Дыши, дыши...

Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

− Вставай, дядь, вставай, − приговаривал Генка.

− Землёй надо засыпать, − бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

− Раз-два... раз-два... − твердил Генка и не давал нам остановиться.

Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

− Что я бабе его скажу? − спросил он.

− Тише, тише... Он дышит!

В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.

Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники − вместе прятались от грозы, ловили овцу.

− Придумай что-нибудь, − попросил Генка. − Придумай, дядь. Он оживёт.

− Можно воздух вдуть, − нерешительно сказал я.

− Вдувай! Вдувай! − сразу обрадовался Генка. − В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.

− Да уж поздно.

− Вдувай, дядь, − просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

Грошев насторожённо слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.

− Ну, посвети.

Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

Гак! − вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

− Чтой-то?

Час прошёл или больше, как кончилась гроза?

У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.

Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.

Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

− Я прямо не верил, что всё обойдётся, − весело сказал Генка.

Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

− И папиросы-то намокли, − хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

− А мы их посушим! − обрадовался Генка.

Николай вяло махнул рукой − дескать, ладно, чего там.

Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить.

Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

− Сбоку молния ударила или как? − спросил я Николая.

− Прям под ноги.

− Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, − возразил Грошев.

− Говорю я − под ноги, − повторил Николай.

− Ух, жара! − сказал Грошев, отскочил от костра. − Ташкент!

− Это ещё не Ташкент, − ответил Генка, протягивая к огню руки. − Сейчас-сейчас, разгорятся...

− Генка-а-а! − послышалось недалеко. − Гена-а-а-а!

− Батя! − испуганно вскочил Генка. − Батя меня ищет!

Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

− Иду-у-у! − закричал он.

− Идёшь? − слышался сердитый голос. − Ты куда провалился, а?

− Эй, дядя Паша! − крикнул я. − Иди к огню!

− Тебя мамка ждёт или не ждёт? − закричал дядя Паша, не обращая на меня внимания. − Ты где был, а?

В голосе его звучала такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой.

− Мамка кричит, что тебя молния убила! Ты думаешь об ней или нет?

− Бать, бать... − толковал в темноте Генка. − Я думаю... Правда думаю...

− Эй, дядя Паша, да погоди ты! − сказал я, догнавши их на тропинке.

− Тебя мамка ждёт или нет? − кричал дядя Паша. − А ты костёр жгёшь! Я те дам костра!

Тут дядя Паша действительно дал костра и добавил овечьей верёвкой. Генка сразу, не сходя с места, заревел басом.

− Да погоди ты! − закричал я, ослепляя дядю Пашу фонарём. − Генка не виноват. Тут человека молнией зашибло, а он помогал!

− Чего? − кричал дядя Паша, не признавая меня. − Тебя не спрашивают! Если тебя не ждут, так ты жги костёр, а парня не приваживай!

− Да тут несчастье случилось!

− А ну пошли домой! Тебе мамка даст! Все глаза проплакала!

− «Проплакала»! − неожиданно возразил Генка. − Небось телевизор смотрит.

− Ты поговори, поговори! − кричал дядя Паша и быстро потащил и Генку и овцу его в темноту. − Костёр они жгут! И так весь лес спалили!

Я остался на месте и долго ещё слышал, как дядя Паша ругал сына:

− Тебя мамка ждёт или нет?

Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.

− Бать, бать... − послышался в последний раз Генкин голос. − Я больше не буду...

Грошев всё махал брюками над костром.

− Я-то в сторону глядел, − объяснял он Николаю. − Потом смотрю − тебя нет. А ты в картошке лежишь!

− Пыхнула только, − ответил Николай. − А дальше не помню.

Грошев махнул брюками − с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.

− Дома, − сказал Грошев, − я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижу.

Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.

− Ну гроза была! Только пыхнула − тебя нет! А ты в картошке лежишь.

− Прям под ноги ударила, − добавил Николай.

− Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. Искусственное дыхание, говорит, надо. Ты не врач, а?

− Китель бы мне зашить, − сказал Николай.

Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.

Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.

− Ну и денёк сегодня был! − сказал он. − Ну и денёк! И ведь утром всё началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана − прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!

− Да, − вспоминал Николай, − верно. Утром всё началось.

− Что ж, − спросил я, − и ты, Николай, видел лешего?

− Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.

− А я видел, − зашептал Грошев и оглянулся тревожно на тёмный за спиною лес. − Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола − осечка! С левого − опять осечка!

Николай, засыпая, дёргался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.

− Леший! − всё вспоминал Грошев, глядя в огонь. − Да что же это такое, а?

− Так, − ответил я, уже задрёмывая. − Так, наверное, явление природы.

**Юрий Коваль**

**Листобой**

Листобой

Ночью задул листобой − холодный октябрьский ветер. Он пришёл с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.

Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.

Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья берёзы, растущей под окном.

К утру берёза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки её текли и текли холодные струи листобоя, чётко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.

Паутина, растянутая в ёлочках строгим пауком-крестовиком, была полна берёзовых листьев. Сам хозяин её уже скрылся куда-то, а она всё набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

**Найда**

Найда − это имя так же часто встречается у гончих собак, как Дамка у дворняжек. Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдёт зверя.

Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Булыге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Её белая рубашка расписана тёмными и медовыми пятнами.

− Ей скоро паспорт получать, − шутит Булыга. − Шестнадцать осеней.

Не годами − осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.

Про молодую собаку говорят − первоосенница. Про старую − осенистая.

Найда немало погоняла на своём веку и заработала на старости лет свободную жизнь.

Молодые гончие Ураган и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.

Да только куда особенно ходить-то? Всё исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.

В октябре, когда грянет листобой и начнётся для гончих рабочая пора − гон по чернотропу, − Найда исчезает.

Целый день пропадает она в лесу, и от дома слышен её глухой голос − то ли гонит, то ли разбирает заячьи наброды.

Заслышав её, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.

К ночи возвращается Найда, скребётся на крыльце, просится в дом.

− Куда-а? − хрипло кричит от стола Булыга. − В дом? Там сиди!

Но после всё-таки открывает дверь, впускает Найду.

Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идёт к печке. Мякиши − так называют подошвы собачьих лап − сбиты у неё в кровь.

Найда ложится в тёплом углу у печки и спит тревожно, дёргается, лает, перебирает лапами во сне − гонит, видно, осенистая.

Гонит, гонит...

**По чернотропу**

− Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!

Мы с Булыгой бежим по лесу, кричим-поём, разжигаем собак.

− Где он? Где он? Где он? − на высокой ноте стонет Булыга.

− Вот он! Вот он! − поддерживаю я.

Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг и нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.

Вот Кама подаёт голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»

− Ой-ё-ё-ё-ёй! − сразу подхватываем мы с Булыгой, и где-то в кустах хрипло рявкает Ураган, прочищает горло, утомлённое летним глупым, безгонным лаем.

Кама заливается сплошной трелью, голос её возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган − звенит, бьётся, колотится меж ёлок, разливается по чернотропу, по застывающему предзимнему лесу голос гона.

− Напересёк! − кричит Булыга.

− Напересёк! − отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересёк, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взматеревший осенний беляк.

**Веер**

На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка.

Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.

Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась − перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.

Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.

«Веер!» − вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.

Белка спрыгнула на землю, и больше её не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется её хвост, очень хорошо − веер.

На крыльце застучали сапоги, и в комнату вошёл лесник Булыга.

− Этот год много белки, − сказал он. − Только сейчас видел одну. На рябине.

− А веер видел?

− Какой веер? Хвост, что ли?

− Тебя не проведёшь, − засмеялся я. − Сразу догадался.

− А как же, − сказал он. − У белки − веер, а у лисы − труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?

Лису мы гоняли у Кривой сосны.

Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали её перехватить.

Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.

− А у волка хвост грубый и толстый, − сказал Булыга. − Называется − полено.

− А у медведя хвостишко коротенький, − сказал я. − Он, наверное, никак не называется?

− Куцик.

− Не может быть!

− Так говорят охотники, − подтвердил Булыга. − Куцик.

Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик.

На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост − веер.

Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка её была голубая, а хвост − рыжий.

− Мы забыли зайца, − сказал Булыга.

А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.

Заячий хвост называется − пых.

Или − цветок.

**Ночные налимы**

С первыми холодами в Оке стал брать налим.

Летом налим ленился плавать в тёплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.

Поздно вечером пошёл я проверить донки.

Толстый плащ из чёрной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.

Темнота всегда настораживает. Я шёл привычной дорогой, а всё боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.

На берегу вдруг вспыхнул огонь и погас. Потом снова вспыхнул и погас. Этот огонь нагнал на меня тревогу.

Чего он там вспыхивает и гаснет, почему не горит подольше?

Я догадался, что это деревенский ночной рыбак проверяет удочки и не хочет, видно, чтоб по вспышкам фонаря узнали его хорошее место.

− Эй! − крикнул я нарочно, чтоб попугать. − Много ли наловил налимов?

«Многолиналовилналимов...» − отлетело эхо от того берега, что-то булькнуло в воде, и не было больше ни вспышки.

Я постоял немного, хотел ещё чего-нибудь крикнуть, но не решился и пошёл потихоньку к своему месту, стараясь не скрипеть плащом и перловицами.

Донки свои я разыскал с трудом, скользнул рукой в воду и не сразу нащупал леску в ледяной осенней воде.

Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть напряглась, и неподалёку от берега возникла на воде тёмная воронка, в ней блеснуло белое рыбье брюхо.

Пресмыкаясь по песку, выполз из воды налим. Он не бился бешено и не трепетал. Он медленно и напряжённо изгибался в руке − ночная скользкая осенняя рыба. Я поднёс налима к глазам, пытаясь разглядеть узоры на нём, тускло блеснул маленький, как божья коровка, налимий глаз.

На других донках тоже оказались налимы.

Вернувшись домой, я долго рассматривал налимов при свете керосиновой лампы. Их бока и плавники покрыты были тёмными узорами, похожими на полевые цветы.

Всю ночь налимы не могли уснуть и лениво шевелились в садке.

**Шакалок**

Около клуба мне повстречался уличный деревенский пёс по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся ко мне, подпрыгивая от восторга.

Я дал Шакалку кусочек хлеба и пошёл по своим делам, а Шакалок побежал за мною.

Мы прошли чуть не всю деревню и встретили почтальона дядю Илюшу. Дядя Илюша отдал мне газету «Труд», и мы распрощались. Шакалок побежал теперь за почтальоном.

Дядя Илюша заходил в каждый дом, а Шакалок терпеливо ждал его на улице. Скоро им повстречался завскладом Колька Кислов, и дядя Илюша остался без собаки. Шакалок бежал теперь за Колькой.

Так целыми днями Шакалок менял хозяина и бегал то за тем, то за другим. А когда не бывало на улице человека, Шакалок торчал у магазина, поджидая кого-нибудь, за кем можно побежать. Шакалок был пепельно-рыжий пёс, с розовым носом и разными глазами. Бегал он вприпрыжку.

Но вот в деревню Стрюково приехал новый учитель. Он покормил Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учителя ни на шаг. Даже поджидал его у школы.

Раз я встретил учителя на улице. Он торопился в школу, а за ним деловито бежал Шакалок. Мы поздоровались, и я порадовался, что Шакалок нашёл хозяина.

Я пошёл дальше и вдруг почувствовал, что кто-то лизнул мне руку.

Шакалок-то бежал за мною.

**Колышки**

Ночью в лесу у костра на меня напал страх.

Я глядел в огонь и боялся поднять голову: казалось, кто-то смотрит на меня из темноты.

Костёр медленно загасал. В лесу было тихо. Только вдруг в тишине слышался тоненький треск и короткий шёпот. Кто-то шептался обо мне, и казалось, я даже разбираю одно слово: «ко-лы-шки...»

«Какое дикое слово! − думал я. − К чему оно?»

Взяв топор, я обошёл вокруг костра. Тень двигалась по стволам деревьев, а за спиной кто-то шептался, шушукался.

− Эй! − закричал я. − Чего вы там шепчетесь! Идите к огню...

Испугавшись громкого голоса, надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится там и шепчется листобой.

**Снежура**

Листобой пригнал снеговую тучу.

Не доходя деревни, улеглась она на верхушки ёлок, раскинула пятнистые лапы, свесила серую рысью морду. Потом загребла лапой − из лесу посыпались на деревню листья, а с ними одинокие большие снежинки.

В полёте снежинки слепливались друг с другом и падали на землю, как узорные блины.

Туча цеплялась за верхушки деревьев, а листобой подталкивал её, гнал, торопил.

Нехотя подползла туча к деревне − густыми волнами повалил снег. Сразу накрыл он огороды, крыши домов.

Несколько антоновских яблок, которые случаем остались на дереве, превратились в белые пухлые лампы.

Прошла туча, и показалось, что наступила зима.

Но уже через минуту снег стал таять. Проступили под ним жёлтые лужи, выползла дорожная грязь, увядшая картофельная ботва.

Побелевшее было поле опять запестрело, и через полчаса кое-где только остались снежные пятна.

Я побежал из дому, нагрёб под берёзой снегу и слепил первый в этом году снежок.

Найда вышла на крыльцо поглядеть, что я делаю.

− Эй, Найда, Найда, лови! − закричал я и хотел залепить в неё снежком, а он уже растаял. В руке от снежка осталось несколько берёзовых листьев.

Октябрьский снег − это ещё не снег. Снежура.

**Лось**

Кукла, белоснежная лайка, нашла в чернолесье лося.

Гончие сразу подвалили к ней и, когда мы выскочили на поляну, уже обложили лося кругом, заливались, хрипели, исходили яростью.

Наклонив голову к земле, он мрачно глядел на собак и вдруг выбрасывал вперёд ногу − страшное живое копьё.

Один удар пришёлся в берёзку − она рухнула, как срубленная топором.

Мы с Булыгой долго бегали вокруг, ругались, трубили в рога, но никак не могли оторвать собак от лося.

Этого лося хорошо знают деревенские жители. Они боятся его, считают, что он «хулиган», «архаровец». Когда-то он будто погнался за молодой бабой, нападал на коров, приходил много раз в деревню и подолгу стоял у Миронихина дома. Чуть ли не спрашивал: «А где Мирониха?»

Один раз он и меня сильно перепугал.

Затаившись, ждал я на лесном болоте уток, когда вдруг услышал в орешнике треск сучьев и тяжёлое дыхание «архаровца».

Багровый на закате, огромный, ободранный, тонконогий, он вышел на поляну и стал в десяти шагах, глядя на меня.

Я поглубже ушёл в ёлку, а он всё глядел на меня, раздувая ноздри, шевеля тяжёлой губой. Чёрт его знает, о чём он думал.

**Листья**

К утру иногда затихнет, но к вечеру снова расходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется листьями надоедливый листобой.

Берёзки на опушке давно уже сдались ему; без листьев сразу стали они сиротливыми, растерянно стоят в пожухлой траве.

А осины совсем омертвели. Вытянув крючья веток, они ловят чужие листья, как будто никогда не имели своих.

Я поднял осиновый лист. Обожжённый бабьим летом, лист горел, как неведомая раковина. Огненный в центре, он угасал к краям, оканчивался траурной каймой.

В глубине леса нашёл я клёны. Защищённые ёлками, неторопливо, с достоинством роняли они листья.

Один за другим я рассматривал битые кленовые листья − багряные с охристыми разводами, лимонные с кровяными прожилками, кирпичные с крапом, рассеянным чётко, как у божьей коровки.

Клён − единственное дерево, из листьев которого составляют букеты. Прихотливые, звёздчатые, они ещё и разукрасились таким фантастическим рисунком, какого никогда не придумает человек.

Рисунок на листьях клёна − след бесконечных летних восходов и закатов. Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец.

**Кувшин с листобоем**

Сырой землёй, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой.

На речном обрыве, где ветер особенно силён, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил её воском.

Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землёй, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Внимание! Файл скачан с сайта mama-smart.ru

Уважаемый читатель!

Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях.

Все тексты взяты из открытых электронных источников и выложены на сайте для не коммерческого использования!

Если вы скопируете данный файл, Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием.

Копируя и сохраняя его, Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству.

Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем.

Любое коммерческое и иное использование, кроме предварительного ознакомления запрещено.

Публикация данного документа не преследует никакой коммерческой выгоды.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*